

Annotation

Впервые роман печатался выпусками в журнале «Редбук» (август-ноябрь 1939 г). Отдельным изданием вышел в 1939 году в Англии (6 апреля) и в США (20 октября). Одна из сюжетных линий романа (преступление молодого мужа) подсказана писателю реальным уголовным процессом в Париже, на котором он побывал. Позднее Моэм навестил осужденного молодого человека по месту отбывания наказания – в каторжной тюрьме Сен-Лоран де Марони во Французской Гвиане.

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
-

1

Чарли Мейсону предстояла поездка, и мать уговаривала его как следует позавтракать, но слишком он был взволнован, какая уж тут еда. Был канун Рождества, и он ехал в Париж. К дню квартальных платежей им с отцом пришлось проделать уйму работы, и сегодня, когда отцу не было надобности идти в контору, он повез Чарли на вокзал Виктории. Уличная пробка на несколько минут задержала их у Гросвенор-Гарденс, и, опасаясь, как бы не опоздать на поезд, Чарли даже побледнел от тревоги. Отец посмеивался.

– У тебя еще добрых двадцать минут.

Но Чарли успокоился, только когда они приехали.

– Ну, счастливо, мой мальчик, – сказал отец. – Повеселись в свое удовольствие, да смотри не слишком проказничай.

Пароход, пятясь, кормой вперед вошел в гавань, и при виде высоких, серых, закопченных домов Кале Чарли возликовал. День был сырой, дул пронзительный ветер. Он шагал по перрону, будто по воздуху. «Золотая стрела», могучий, роскошный и величественный экспресс, который его поджидал, был не просто поездом, но романтическим символом. Пока не стемнело, Чарли смотрел в окно и про себя радостно смеялся – перед ним проносились картины, которые он уже видел в картинных галереях: песчаные дюны с лоскутами серой под свинцовым небом травы, селения, где жались друг к другу домишки бедняков под шиферными крышами, а потом широкие печальные просторы вспаханных полей и кое-где обнаженные деревья; но день, казалось, спешил покинуть эту безрадостную сцену, и вскоре, посмотрев в окно, Чарли только и увидел, что собственное отражение, а за ним полированное красное дерево пульмановского вагона. Он пожалел, что не полетел самолетом. Он хотел лететь, но мать решительно воспротивилась, убедила отца, что среди зимы это безрассудно и опасно, и отец, всегда такой здравомыслящий, на сей раз поставил условие, что увеселительная поездка состоится, только если сын отправится поездом.

Чарли, разумеется, уже бывал в Париже, раз пять-шесть, не меньше, но впервые ехал туда один. Поездка эта – подарок отца, и на то была особая причина: Чарли проработал год в отцовской конторе, сдал необходимые экзамены и мог теперь с успехом следовать по избранной стезе. Сколько он помнил, отец, мать, сестра Пэтси и он сам всегда проводили Рождество у

родных, Терри-Мейсонов, в Годэлминге; и чтобы объяснить, почему однажды вечером, обговорив все с женой, Лесли Мейсон, с улыбкой на добром лице, спросил сына, не хочет ли он вместо того, чтобы как обычно ехать с ним в Годэлминг, провести самостоятельно несколько дней в Париже, надо немного вернуться назад. Да, надо вернуться в середину девятнадцатого века, когда некто Сайберт Мейсон, человек работающий и толковый, старший садовник в большом имении в Сассексе, женился на кухарке, купил на свои и ее сбережения несколько акров земли севернее Лондона и стал выращивать овощи на продажу. Хотя ему было уже сорок и жене немногим меньше, они произвели на свет восемь детей. Мейсон преуспевал и на выручаемые деньги прикупал небольшие участки все еще свободных окрестных земель. Город разрастался, и огород приобрел ценность как место под застройку; заняв в банке деньги, Мейсон возвел целую улицу особнячков и в скором времени все их сдал в аренду. Подробно рассказывать о том, как успешно шли его дела, было бы скучно, довольно сказать, что, когда он умер в возрасте восьмидесяти четырех лет, та земля, которую он в свое время купил, чтобы выращивать овощи и продавать их на Ковентгарденском рынке, и участки, которые он неизменно приобретал при всякой возможности, отданы были под кирпич и известковый раствор. Сайберт Мейсон позаботился, чтобы его дети получили образование, в котором ему самому было отказано. Они поднимались по общественной лестнице. Он же преобразовал Владение Мейсона, как он, пожалуй, чересчур пышно его именовал, в Частную компанию, и после его смерти каждый из детей получил в наследство свою долю акций. Владение Мейсона отлично управлялось, и хотя ему не сравниться было ни с Вестминстерским, ни с Портсмейским владением, ибо местоположение его было скромное и жить здесь давно уже не считалось почетным, но лавки, склады, фабрики, трущобы, длинные ряды закопченных двухэтажных домов приносили его владельцам довольно прибыли и позволяли, не прилагая особых усилий, жить как подобает джентльменам и леди, каковыми они теперь стали. И в самом деле, глава семьи, единственный оставшийся в живых сын старшего сына старого Сайберта,— брат его погиб на войне, а сестра упала с лошади во время охоты и разбилась насмерть,— был очень богат. Был он членом парламента и во время пятидесятилетнего юбилея короля Георга Пятого получил титул баронета. Он присоединил к своей фамилии фамилию жены и отныне звался сэром Уилфридом Терри-Мейсоном. Семья надеялась, что его неколебимая преданность партии тори и верное место в парламенте принесут ему в конце концов титул пэра.

Лесли Мейсона, младшего из многочисленных внуков Сайберта, послали учиться в закрытую частную школу для мальчиков, а потом и в Кембриджский университет. Его доля в компании приносила ему две тысячи фунтов стерлингов в год, и к этому прибавилась еще тысяча, которую он получал как секретарь Компании. Раз в год созывалось собрание под председательством сэра Уилфрида, – на нем присутствовали те члены семьи, которые оказывались в Англии, ибо кое-кто из третьего поколения служил своему отечеству в отдаленных пределах Империи, а кое-кто жил в праздности и часто проводил время за границей, – и Лесли читал в высшей степени благополучный отчет, составленный многоопытными бухгалтерами.

Лесли Мейсон был человеком весьма разнообразных интересов. Сейчас ему пятьдесят с небольшим, у него приятная наружность, он высокий, хорошо сложен, голубые глаза, красиво седеющие, довольно длинные волосы и яркий румянец. Он похож скорее на солдата или на приехавшего домой в отпуск губернатора какой-либо колонии, чем на комиссионера по продаже и сдаче внаем домов, и, глядя на него, никогда не скажешь, что его дед был садовником, а бабка – кухаркой. Он хорошо играет в гольф, на что не жалеет времени, и хорошо стреляет. Но Лесли Мейсон занимается не только гольфом и охотой, он еще и живо интересуется искусством. У остальных членов семьи никаких таких причуд не было, и они относились к склонностям Лесли со снисходительной улыбкой, но когда по той или иной причине кто-нибудь из них хотел купить мебель или картину, они спрашивали совета у Лесли и следовали ему. Вполне естественно, что Лесли разбирался в этих делах, ведь он женился на дочери художника. Джон Перон, отец его жены, художник, многие годы, между восьмидесятыми и концом века, был членом Королевской академии, заработал немалые деньги тем, что писал молодых женщин в костюмах восемнадцатого века, флиртующих с соответственно одетыми молодыми людьми. Он писал их в садах, среди цветов, которые сажали в те поры, в заплетенных листвою беседках и в гостиных, вполне правильно обставленных столами и стульями того периода. Но теперь, если его картины попадали на аукцион Кристи, они шли по тридцать шиллингов, от силы по два фунта. После смерти отца Винитии Мейсон досталось множество его картин, но они давно уже пылились в кладовке, лицом к стене, ибо по нынешним временам даже дочерняя любовь не могла помешать ей считать их никудышными. Чета Мейсонов нисколько не стыдилась того, что бабка Лесли была кухаркой, в дружеском кругу они склонны были шутить над этим, а вот о Джоне Пероне им упоминать было

неловко. Кой у кого из родственников Лесли Мейсона до сих пор висели его картины; Винитию это унижало.

– Я вижу, у вас там еще висит картина отца,– говорила она.– Вам не кажется, что она изрядно устарела? Почему бы вам не поместить ее в одну из свободных комнат?

– Мой тесть был прелестный человек,– говорил Лесли.– И манеры у него были прекрасные, но, боюсь, художник он был неважный.

– Видишь ли, мой папаша выложил за нее кругленькую сумму. Было бы нелепо вешать в запасной спальне картину, которая стоила триста фунтов, но, знаешь, если такое к ней твое отношение, я продам ее тебе за сто пятьдесят.

Ибо хотя за три поколения Мейсоны и превратились в леди и джентльменов, деловую хватку они не утратили.

За время брака художественный вкус четы Мейсонов весьма заметно изощрился, и на стенах их нового красивого дома на Порчестер-Клоуз висели картины Уилсона Стира и Огастеса Джона, Дункана Гранта и Ванессы Белл. Были у них и Утрилло и Виллар, купленные, когда картины обоих мастеров еще продавались за умеренную цену, были и Дерен, и Марке, и Кирико. Стоило войти в их дом, ничуть не загроможденный мебелью, и сразу становилось ясно – они не отстают от жизни. Они старались не пропускать недоступные широкой публике закрытые выставки, а бывая в Париже, не упускали случая посетить галерею Розенберга и торговцев картинами на Рю де Сен, чтобы взглянуть, что же здесь предлагают; они вправду любили картины, и если не покупали их до того, как нынешние знатоки сходились во мнении, что полотно заслуживает внимания, то отчасти из-за скромности и неуверенности в собственном суждении, а отчасти из-за опасения невыгодно вложить деньги. Ведь картины Джона Перона в свое время хвалили известнейшие критики и за каждую ему платили по несколько сот фунтов, а теперь сколько они стоят? Два-три фунта. Поневоле станешь осторожен. Но чету Мейсонов интересовала не одна только живопись. Они любили музыку, всю зиму посещали симфонические концерты, у них были любимые дирижеры, и никакие светские обязанности не заставили бы супругов пропустить их выступления. Раз в году они непременно слушали «Кольцо Нибелунгов». Обоим музыка доставляла истинное наслаждение. Они знали в ней толк и обладали хорошим вкусом. Они неизменно бывали на театральных премьерах и входили в общества, что ставят пьесы, которые считаются недоступными пониманию широкой публики. Они сразу же прочитывали книги, о которых говорят. И не только потому, что им это нравилось, но и

потому, что надо же идти в ногу со временем. Они искренне интересовались искусством, и малейшая попытка посмеяться над ними оттого, что им недоставало смелости, а их оценкам оригинальности, была бы несправедлива. Возможно, суждения их были традиционны, но то была традиционность высочайшей культуры их времени. Сами они неспособны были совершить открытие, зато живо откликались на открытия других. Предоставленные самим себе, они вряд ли особенно восхитились бы Сезанном, но едва им стало ясно, что он великий художник, и они со всей искренностью это признали. Своим вкусом они не гордились, и в их отношении к искусству не было ни тени снобизма.

– Мы просто самая заурядная публика, – говорила Винития.

– Как раз та, которую презирает художник, но которая знает, что ей нравится, – прибавлял Лесли.

По счастью и чистой случайности, Дебюсси им нравился больше, чем Артур Салливен, а Вирджиния Вулф больше, чем Джон Голсуорси.

Эта поглощенность искусством почти не оставляла времени для светских развлечений; они не искали общества лиц высокопоставленных или знаменитых, друзья их были очень милые люди, состоятельные, но вовсе не богачи, которых отличало умеренное пристрастие к пище духовной. Они не очень-то любили званые обеды, сами давали их изредка и ходили на них не чаще, чем того требовали приличия; но они любили угощать друзей ужином, когда те заглядывали к ним воскресным вечером, одетые как кому угодно, и с удовольствием ели кеджери (блюдо из риса, стручковых овощей, лука и яиц – прим.автора) и сосиски с картофельным пюре. Гостей ждала хорошая музыка и приятная партия в бридж. И разумная беседа. Эти вечера отличались той же милой непритязательностью, как и сами супруги Мейсоны, и хотя у всех гостей были собственные автомобили и лишь у немногих меньше пяти тысяч годового дохода, они льстили себя надеждой, что на их вечерах царил дух богемы.

Но счастливей всего Лесли Мейсон бывал, когда не надо было идти ни на концерт, ни на премьеру и можно было провести вечер в лоне семьи. С браком ему повезло. Жена его в молодости была хороша собой и сейчас, в зрелом возрасте, не утратила своей привлекательности. Была она почти такая же высокая, как он, глаза голубые, просесть в каштановых волосах пока еще не заметна. Склонная к полноте, она при своем росте носила ее с достоинством, а строгая диета помогала ей поддерживать форму, так что полнота ее не портила. Лицо у нее было открытое, высокий лоб и застенчивая улыбка. Одевалась она в Париже, правда, не у модных

портних, а все-таки у мастерицы почти первоклассной, но, однако же, в ней всегда можно было признать англичанку. Она как бы подчиняла себе любой наряд, и если иной раз позволяла себе роскошь купить шляпу от Ребу, на ней эта шляпа казалась купленной в английском универмаге. По миссис Мейсон сразу видно было, что она женщина добропорядочная, интеллигентная и притом обеспеченная. Она вышла замуж по любви и до сих пор любила мужа. Их связывали еще и общие интересы, и не удивительно, что жили они в полном согласии. С самого начала было решено, что из них двоих она лучше разбирается в живописи, а он в музыке, и они доверяли суждениям друг друга. Когда заходил разговор, к примеру, о последней работе Пикассо, Лесли говорил:

– Что ж, сказать по совести, мне она не сразу пришлась по вкусу, а вот Винития ни минуты не сомневалась; при ее чутье она мигом оценила картину.

А миссис Мейсон признавалась, что прежде, чем по-настоящему понять утверждение мужа, будто Вторая симфония Сибелиуса на свой лад не хуже Бетховена, ей пришлось прослушать это произведение раза четыре.

– Но Лесли, разумеется, по-настоящему понимает музыку. По сравнению с ним я, можно сказать, профан.

Лесли и Винитии Мейсон повезло не только друг с другом, но и с детьми. Детей было двое, как раз столько, сколько нужно, ведь единственный ребенок может вырасти избалованным, а трое или четверо потребовали бы значительных расходов, так что уже невозможно было бы жить как хочется, не стесняя себя, и так обеспечить детей, чтобы не тревожиться за их будущее. К своим родительским обязанностям они отнеслись серьезно. Стены детской украсили не какими-нибудь глупыми картинками, предназначенными для детей, но репродукциями Ван Гога, Гогена и Мари Лорансен, чтобы с ранних лет у детей формировался вкус; столь же заботливо подобрали пластинки для патефона в детской, так что ни сын, ни дочь еще и на велосипеде не умели кататься, а уже знакомы были с Моцартом и Гайдном, с Бетховеном и Вагнером. Едва они подросли, превосходные учителя стали их обучать игре на фортепиано, и Чарли оказался особенно способным. Брат и сестра очень любили бывать на концертах. Они приходили на воскресный дневной концерт и слушали музыку с партитурой в руках или часами дожидались места на галерке в «Ковент-Гардене», потому что родители не считали нужным покупать им дорогие билеты, полагая, что если готов слушать музыку без особых удобств, значит, ты истинный ее поклонник. Супруги Мейсон не очень жаловали старых мастеров и в Национальной галерее бывали редко, разве

что газеты поднимут шум из-за какого-нибудь нового приобретения, однако они полагали, что детям необходимо знакомиться с великим искусством прошлого, и когда те подросли, постоянно водили их в Национальную галерею, но скоро поняли, что, если хотят их порадовать, надо повести их в галерею Тейта, и с удовольствием убедились, что по-настоящему детей волнует искусство самое современное.

– Поневоле задумаешься, когда видишь, что два таких юных существа чувствуют себя в стихии Матисса, как рыба в воде, – говорил Лесли Мейсон жене, и в его добрых глазах сияла гордая улыбка.

В ее ответном взгляде читались и усмешка и печаль.

– Они считают меня ужасно старомодной, оттого что мне все еще нравится Моне. Они говорят, его картины будто с шоколадной коробки.

– Что ж, мы сами воспитывали их вкус. Не стоит ворчать, если они нас обогнали и оставили позади.

Винития мило и ласково засмеялась.

– Видит Бог, я нисколько на них не сержусь, пускай считают меня безнадежно старомодной. Что бы они ни говорили, все равно мне будут нравиться и Моне, и Мане, и Дега.

Но Мейсоны подумали не только о художественном образовании своих отпрысков. Они старались, чтобы те не выросли излишне чувствительными и достигли мастерства в спорте, в различных играх. Брат и сестра хорошо ездили верхом, и из Чарли получился совсем неплохой стрелок. Пэтси, которой исполнилось восемнадцать, училась в Королевской музыкальной академии. В мае она закончит курс, и тогда они устроят в ее честь бал в прекраснейшей гостинице «Кларидж». Леди Терри-Мейсон представит ее ко двору. Пэтси такая хорошенькая, голубоглазая, белокурая, стройненькая, веселая, с привлекательной улыбкой, ей, конечно же, обеспечен быстрый успех. Лесли хотел, чтобы она вышла за подающего надежды молодого адвоката, стремящегося сделать политическую карьеру. Столь утонченная и образованная девушка, да еще при деньгах, которые она со временем унаследует, Пэтси будет такому человеку замечательной женой. Но это означало бы конец дружной, уютной и счастливой жизни их семейства, какую они до сих пор наслаждаются. Конец приятнейшим вечерам, когда они обедают дома вчетвером в красиво обставленной столовой, где над чиппендейловским буфетом висит полотно Стира, за столом, сияющим уотерфордским стеклом и георгианским серебром, где прислуживают хорошо обученные служанки в ловко сидящих фирменных платьях; простые английские блюда прекрасно приготовлены; а после обеда, за которым не умолкает беседа об искусстве, литературе, театре, – стакан

портвейна, и потом в гостиной немного музыки и партия в бридж. Винития боялась, что это с ее стороны чистейший эгоизм, а все же поневоле радовалась, что прежде, чем Чарли сможет позволить себе жениться, пройдет, по крайней мере, несколько лет.

Чарли родился во время войны, ему минуло двадцать три, и когда Лесли демобилизовался и поехал в Годэлминг к главе семьи, который был уже членом парламента, но имел еще только низшее дворянское звание, сэр Уилфрид посоветовал ему, когда придет время, отдать сына в Итон. Лесли и слышать об этом не хотел. И вовсе не из-за денег, которых бы это потребовало, – просто ему хватало здравого смысла не посылать мальчика в школу, где ему привьют экстравагантные вкусы и он наберется идей, никак не подходящих для предстоящей ему жизни.

– Сам я учился в Рагби, и, по-моему, для него будет лучше всего, если я пошлю его туда же.

– Я думаю, ты делаешь ошибку, Лесли. Своих я послал в Итон. Я, слава богу, не сноб, но и не дурак, в обществе Итон ценят, тут спорить не приходится.

– Да, еще бы, но мое положение не чета твоему. Ты очень богат, Уилфрид, и если все пойдет хорошо, ты в конце концов попадешь в палату лордов. Ты совершенно прав, тебе, конечно, следует предоставить сыновьям те возможности, которые позволят им занять в обществе подобающее положение, а я, хоть я и секретарь компании «Мейсонское владение», что звучит весьма солидно, когда дело доходит до монеты, оказывается, я всего-навсего агент по продаже недвижимости, и не желаю я воспитывать сына важным господином, пускай пойдет по моей дорожке.

Такие речи Лесли были невинной хитростью. По завещанию старого Сайберта и из-за несчастий, приключившихся с братом и сестрой Уилфрида, о чем было уже рассказано, ему теперь принадлежали три восьмых Компании, это принесло ему значительный капитал, который будет становиться еще значительней благодаря доходам от арендаторов, возрастающей стоимости земли и умелому управлению. Человек толковый, деятельный, да притом богатый и с положением, он пользовался особым влиянием в семье, и хотя никто из родных не ставил это под сомнение, ему приятно было, когда это признавали вслух.

– Неужели ты хочешь сказать, что был бы доволен, если бы сын тоже стал агентом по продаже недвижимости?

– Мне это занятие подходит. Почему ж оно не подойдет ему? Никто не знает, к чему идет мир, и когда Чарли вырастет, может, он еще как будет рад тепленькому местечку на тысячу в год. Но хозяин, разумеется, ты.

Сэр Уилфрид повел рукой, давая понять, что скромность не позволяет ему согласиться с такой своей ролью.

– Я такой же акционер, как и все вы, но что до меня, если ты хочешь, чтобы сын занял твое место, пускай займет. Все это, разумеется, еще нескоро, к тому времени я уже могу умереть.

– В нашей семье живут долго, ты проживешь не меньше Сайберта. Во всяком случае, будет неплохо, если ты дашь понять остальным, что это дело решенное: когда я отойду от дел, мое место займет мой сын.

Чтобы расширить кругозор детей, супруги Мейсоны проводили каникулы за границей – зимой там, где можно кататься на лыжах, а летом на морских курортах на юге Франции; и раза два они с той же похвальной целью совершали путешествия в Италию и в Голландию. Когда Чарли окончил школу, отец решил, что, прежде чем поступать в Кембридж, мальчику полезно пожить полгода в Туре изучить французский. Но его пребывание в этом славном городе обернулось совершенно неожиданно и могло бы привести к катастрофе, – ибо, вернувшись, он объявил, что желает ехать не в Кембридж, а в Париж, хочет стать художником. Родители были ошеломлены. Они любили искусство, часто говорили, что оно занимает весьма важное место в их жизни; Лесли, временами не чуждый философических размышлений, склонен был думать, что только искусство придает смысл человеческому существованию, и с величайшим уважением относился к его творцам; но никогда он не мог себе представить, что кто-либо из его семьи, а тем более его родной сын, изберет путь столь неопределенный, необычный и в большинстве случаев отнюдь не доходный. Да и Винития не могла забыть судьбу своего отца. Было бы несправедливо сказать, что оттого, как серьезно, серьезнее, чем им хотелось бы, сын воспринял их увлеченность искусством, родители растерялись; они и вправду были серьезно увлечены, но как покровители, меценаты; хоть и приверженные богеме, они владели акциями Компании Мейсон, а это, как понятно каждому, ставило их совсем в другое положение. К словам Чарли они отнеслись вполне недвусмысленно, но сознавали, нелегко будет выразить это так, чтобы сын не счел их неискренними.

– Не понимаю, с чего ему это взбрело в голову, – сказал Лесли, обсуждая новость с женой.

– Я думаю, он это унаследовал. Все-таки мой отец был художник.

– Он занимался живописью, дорогая. Он был истинный джентльмен и поразительный рассказчик, но ни один разумный человек не назвал бы его художником.

Винития вспыхнула, и Лесли почувствовал, что обидел ее. И поспешил исправить свою оплошность.

– Если он унаследовал призвание к искусству, то куда скорей от моей бабки. Помню, старик Сайберт говаривал, тот не знает вкуса рубца с луком, кто не отведал бабкиной стряпни. Когда она ушла из кухарок и стала женой садовника, мир потерял замечательную мастерицу своего дела.

Винития прыснула и простила его.

Слишком хорошо они друг друга знали, им не требовалось обсуждать возникающие недоразумения. Дети любили их и смотрели на них снизу вверх; и супруги согласились, что было бы безмерно жаль каким-нибудь неверным шагом поколебать веру Чарли в мудрость и честность родителей. Молодые нетерпимы, скажи им то, что диктует здравый смысл, они тут же сочтут тебя старым обманщиком.

– По-моему, не стоит запрещать ему это слишком решительно, – сказала Винития. – Он только заупрямится.

– Тут поначалу требуется осмотрительность. Не спорю.

Положение осложнялось еще тем, что Чарли привез из Тура несколько полотен и, когда показал их, родители отозвались о них в таких выражениях, которые теперь было бы трудно взять обратно. Они хвалили его работы не как знатоки, а как любящие родители.

– Может быть, тебе стоило бы как-нибудь утром позвать Чарли в кладовку, и пускай посмотрит полотна твоего отца. Ничего не навязывай, лучше, чтоб это получилось будто невзначай. А я при случае с ним поговорю.

Случай представился. Лесли сидел в малой гостиной, которую они отвели детям, чтобы те свободно ею располагали. На стенах красовались репродукции Гогена и Ван Гога, которые прежде украшали детскую. Чарли писал пестрый букет в зеленой вазе.

– По-моему, лучше вставить в рамы картины, что ты привез из Франции, и повесить их вместо этих репродукций. Давай-ка еще разок на них взглянем.

На одной из них были изображены три яблока на белой с синим тарелке.

– По-моему, она очень хороша, – сказал Лесли. – Я видел сотни картин с тремя яблоками на белой с синим тарелке, твоя им не уступит. – Он усмехнулся. – Бедняга Сезанн, интересно, что бы он сказал, знай он, сколько тысяч раз люди писали эту его картину.

Был и еще один натюрморт – бутылка красного вина, пачка французского табака в синей обертке, пара белых перчаток, сложенная

газета и скрипка. Все эти предметы лежали на столе, покрытом скатертью в белую и зеленую клетку.

– Очень хорош. Многообещающая работа.

– Ты правда так думаешь, папа?

– Ну, конечно. Видишь ли, работа не сказать чтоб оригинальная, у агентов по продаже картин таких на складе десятки, но ведь ты в жизни не взял ни единого урока, и работа поистине делает тебе честь. Ты, видно, отчасти унаследовал талант дедушки. Ты его картины видел, нет?!

– Я много лет их не видел. А тут мама что-то искала в кладовке и показала их мне. Страх и ужас.

– По-моему, тоже. Но в его время их воспринимали иначе. Их всюю расхваливали и покупали. Вот и множество вещей, которыми мы сейчас восхищаемся, через пятьдесят лет будут казаться ужасными. Это самое страшное в искусстве – в нем нет места посредственности.

– Но ведь пока не попробуешь, не поймешь, кто ты.

– Разумеется, и если ты хочешь профессионально заняться живописью, кому-кому, а уж не нам с матерью становиться тебе поперек дороги. Сам знаешь, как много для нас значит искусство.

– Мне больше всего на свете хотелось бы заниматься живописью.

– Если жить скромно, при той доле Компании Мейсон, которая тебе отойдет, тебе всегда хватит. И я знаю любителей, которые создали себе вполне милое и негромкое имя.

– Но я вовсе не желаю быть любителем.

– Но с твоей тысячей-полтора в год вряд ли можно достичь большего. Не скрою, я буду несколько разочарован. Я держал для тебя место секретаря Компании, но кое-кто из твоих кузенов с радостью за него ухватится. Я-то полагал, что лучше быть умелым и знающим дельцом, чем посредственным художником, но это так, к слову. Главное, чтоб ты был счастлив, и нам остается только надеяться, что из тебя выйдет лучший художник, чем из твоего деда.

Они помолчали. Добрый взгляд Лесли был устремлен на сына.

– Только об одном я хотел бы тебя попросить. Мой дед поначалу был садовником, а его жена кухаркой. Я его едва помню, но, сдается мне, он был человек достойный, но грубоватый, неотесанный. Говорят, джентльменом можно стать лишь в третьем поколении, и во всяком случае я не ем горошек с ножа. Ты – четвертое поколение. Можешь считать меня снобом, но не улыбается мне мысль, что ты спустишься по общественной лестнице. Я бы хотел, чтобы ты поступил в Кембридж, получил степень, а потом, если захочешь поехать в Париж изучать живопись, езжай с богом.

Предложение отца показалось Чарли поистине великодушным, и он с благодарностью его принял. В Кембридже он наслаждался вовсю. Ему не часто выпадал случай заняться живописью, но он вошел в круг людей, увлекающихся театром, и на первом курсе написал несколько одноактных пьес. Их поставили в Любительском театральном клубе, и Мейсоны-родители приехали в Кембридж их посмотреть. Потом Чарли свел знакомство с одним преподавателем, выдающимся музыкантом. Чарли играл на фортепиано лучше большинства студентов, и они вместе исполняли дуэты. Он изучал гармонию и контрапункт. Поразмыслив, он решил, что лучше ему стать не художником, а музыкантом. Лесли Мейсон весьма добродушно на это согласился, но когда Чарли получил степень, отец на две недели повез его в Норвегию поудить рыбу. Дня за три до их возвращения Винития получила от мужа телеграмму, состоящую из одного-единственного слова – «Эврика». При всей их образованности ни он, ни она не знали, что это значит, но смысл его получательнице был совершенно ясен, а ведь для того и служат слова. Она вздохнула с облегчением. В сентябре Чарли на четыре месяца поступил в бухгалтерскую фирму, услугами которой пользовалась Компания Мейсон, стал учиться основам делопроизводства и в новом году присоединился к отцу.

Чтобы поощрить усердие, с каким сын работал первый год в Компании, Лесли и посылал его теперь в Париж порезвиться, снабдив двадцатью пятью фунтами. И уж Чарли намерен был порезвиться вовсю.

Они уже почти приехали. Служители подносили багаж поближе к выходу, чтобы удобней было передать его носильщикам. Дамы делали последний мазок губной помадой, и им подавали меховые манто. Мужчины влезали в зимние пальто, нахлобучивали шапки. Близость, в которой все они просидели несколько часов, приятное тепло комфортабельного купе превратили их в некое содружество, отделило пассажиров пульмановского вагона с его особым номером от пассажиров всех остальных вагонов; но теперь общность распалась, и каждый человек или каждые двое-трое вновь обрели свое особое лицо, которое на время слилось со всеми остальными. В дымном воздухе, сдобренном запахом застоявшегося табака, резких духов, человеческого тела, в духоте парового отопления каждый вдруг напустил на себя некую загадочность. Вновь чужие, они смотрели друг на друга озабоченными невидящими глазами. Каждый ощущал смутную враждебность к соседу. Кое-кто уже выстраивался в очередь в коридоре, желая побыстрее выйти. От тепла в вагоне окна запотели, Чарли протер небольшой просвет и глянул за окно. Ничего он не увидел.

Поезд вкатил под своды вокзала. Чарли отдал саквояж носильщику и большими шагами зашагал по перрону; он надеялся, что его встретит его друг Саймон Фенимор. И огорчился, не увидев его у вагона; но у контрольного барьера толпился народ, и Чарли подумал, что Саймон ждет его там. Нетерпеливо, испытующе оглядел оживленные нетерпеливым ожиданием лица; прошел сквозь толпу; встречающие протягивали руки прибывшим; целовались женщины; его друга не было. Чарли так был уверен, что тот здесь, даже чуть замешкался, но носильщик явно спешил, и Чарли последовал за ним во двор. Он был несколько обескуражен. Носильщик взял ему такси, и Чарли назвал шоферу гостиницу, в которой Саймон заказал для него номер. Приезжая в Париж, Мейсоны всегда останавливались в гостинице на Рю Сент-Оноре. Ее постояльцами были исключительно американцы и англичане, но через двадцать лет Мейсоны все тешили себя иллюзией, будто это они ее отыскивали, настоящую французскую гостиницу, и когда видели на лестничной площадке американский багаж или поднимались в лифте с людьми, которые могли быть только англичанами, они не переставали удивляться.

– Интересно, их-то как сюда занесло? – говорили Мейсоны.

Сами они были осмотрительны, никогда не называли эту гостиницу

своим друзьям; они набрели на уголок старой Франции и не собирались рисковать, не желали, чтоб его испортили. Хотя директор и портье свободно говорили по-английски, Мейсоны объяснялись с ними на своем прихрамывающем французском, уверенные, что только французский те и знают. Но, отправляясь в Париж один, Чарли решил не останавливаться в этой гостинице уже хотя бы потому, что столько раз бывал в ней со всем семейством. Он ехал в поисках приключений, и почтенная семейная гостиница, где, по словам родителей, останавливались одни лишь французские аристократы из провинции, вряд ли подходила для восхитительных, необузданных и романтических походов, что проносились в его воображении последний месяц. Вот он и написал Саймону и попросил найти ему комнату где-нибудь в Латинском квартале; что касается удобств, он был непривередлив и о чистоте не очень беспокоился, была бы там подходящая атмосфера; и в должный срок Саймон написал ему, что заказал номер в гостинице близ вокзала Монпарнас. Она была расположена на тихой улочке чуть в стороне от Рю де Ренн и в удобной близости от улицы Кампань Премьер, где жил он сам.

Чарли быстро справился с разочарованием от того, что Саймон его не встретил, – он не сомневался, что тот либо ждет его в гостинице, либо звонил, что будет с минуты на минуту, – и, пока ехал по людным улицам, ведущим от Гар дю Нор к Сене, настроение у него улучшилось. Приехать в Париж вечером – это же замечательно. Моросит дождик, и улицы кажутся волнующе таинственными. Магазины ярко освещены. По тротуарам движется великое множество зонтов, с них капает вода, поблескивает в свете фонарей. Чарли вспомнилась одна из картин Ренуара. Время от времени налетает порыв ветра, и женщины съезжаются под зонтами, юбки закручиваются вокруг ног. По благоразумным английским представлениям такси мчится с неистовой скоростью, и всякий раз, как, стараясь избежать столкновения, шофер вдруг нажимает на тормоза, у Чарли перехватывает дыхание. Красный свет задержал их на перекрестке, и в обе стороны хлынул поток людей, будто перепуганные толпы, убегающие от теснящей их полиции. Взволнованному взгляду Чарли они казались совсем не похожими на английских пешеходов – живее, нетерпеливей; когда взгляд его случайно упал на девушку, которая шла сама по себе, швею ли, машинистку, возвращавшуюся со службы, он с удовольствием представил, что она спешит на свидание с любовником; а когда увидел парочку, идущую под руку под одним зонтом, – бородатого молодого человека в широкополой шляпе и девушку с мехом вокруг шеи, идущих так, словно быть вместе такое блаженство, что и дождь им нипочем, и

толчею они не замечают, – его пронизала острая радость сопереживания. На одном углу из-за пробки его такси оказалось бок о бок с роскошным лимузином. В нем сидела женщина в собольем манто, нарумяненная, губы покрашены, профиль безупречнейший. Она вполне могла быть герцогиней Германт, что возвращается со званого чаепития к себе домой на бульвар Сен-Жермен. Замечательно, что ему двадцать три и он самостоятельно в Париже.

– Ох и проведу же я времечко!

Гостиница оказалась шикарней, чем он ожидал. Ее пышный фасад наводил на мысль об изысканном вкусе покойного барона Хаусмана. Оказалось, комната для него заказана, но ни письма Саймон ему не оставил, ни на словах ничего не передал. И наверх его провел не плохо выбритый мрачноватый тип в стоптанных башмаках и грязном фартуке, но любезный администратор в визитке, прекрасно говорящий по-английски. Просто обставленная комната отличалась чистотой, и в ней было две кровати, но администратор заверил Чарли, что будет брать с него только за одну. И с гордостью показал ему прилегающую к номеру ванную комнату. Когда тот ушел, Чарли огляделся. Он ожидал, что комната будет небольшая, с тяжелыми блеклыми репсовыми гардинами, с деревянной кроватью, большущим пуховым стеганым одеялом и со старым зеркальным шкафом красного дерева; он ожидал найти на туалетном столике чьи-то шпильки, а в ящике тумбочки у кровати наполовину использованный тюбик губной помады и расческу со сломанными зубьями и застрявшими в ней крашеными волосками. Такой рисовалась в его романтическом воображении студенческая комната в Латинском квартале. Ванная! Вот уж чего он никак не ожидал. Такая комната могла быть в одной из тех недорогих гостиниц в Швейцарии, где он бывал с родителями. Чистая, давно не отремонтированная и убогая. Даже при своем пылком воображении Чарли не находил в ней ничего таинственного. Уныло распаковал он свой саквояж. Принял ванну. И подумал, ну что за необязательность, ведь даже если Саймон не побеспокоился его встретить, мог бы оставить записку. Если он так и не подаст признаков жизни, придется обедать в одиночестве. Отец, мать и Пэтси уже наверно приехали в Годэлминг; там будет весело, соберутся два сына сэра Уилфрида с женами и две племянницы леди Терри-Мейсон. Будет музыка, игры, танцы. Чарли даже пожалел было, что ухватился за предложение отца провести каникулы в Париже. Вдруг ему подумалось, что Саймону, возможно, неожиданно пришлось поехать по делам газеты и в спешке он забыл его известить. Вот незадача...

Саймон Фенимор был самым давним другом Чарли, и чтобы провести

с ним несколько дней, Чарли так рвался в Париж. Они учились в одной частной школе, вместе были и в Рагби, и в Кембридже тоже, но оттуда Саймон ушел не доучившись, даже не закончил второй курс, решил, что зря теряет время; и не кто иной, как отец Чарли устроил его в одну лондонскую газету, парижским корреспондентом которой он и был этот последний год. Не было у Саймона никого на свете. Отец его служил в Индии в Лесном управлении, и, когда Саймон был еще совсем малыш, развелся с его матерью, которая ему изменяла. Она уехала из Индии, а Саймона, которого суд оставил на попечении отца, тот отправил в Англию в семейство некоего священника, где ему предстояло жить до поступления в школу. Мать как сквозь землю провалилась. Саймон не знал, жива она или умерла. Отец умер от цирроза печени, когда мальчику было двенадцать, и он лишь смутно помнил молчаливого, сухощавого, хрупкого человека с болезненным, морщинистым лицом. Оставленных им денег только и хватило, что на образование сына. Одиночество мальчика тронуло чету Мейсонов, и они взяли за правило приглашать его чуть не на каждые каникулы. Мальчишкой он был долговязый, тощий, черные глаза на бледном лице казались огромными, копна прямых темных волос вечно нечесана, рот большой, чувственный. Он был разговорчив, не по годам развит, начитан и умен. У него и в помине не было застенчивости, что так привлекала в Чарли. Винития Мейсон не могла его полюбить, хотя по чувству долга и старалась изо всех сил. Она никак не могла взять в толк, почему сын привязался к Саймону, который так на него непохож. Ведь этот Саймон такой самодовольный, он нечувствителен к доброте, и что для него ни делаешь, принимает это как само собой разумеющееся. Похоже, он не очень-то высокого мнения и о ней и о Лесли. Иной раз, когда Лесли толково, с присущим ему здравым смыслом говорил о чем-то интересном, в больших черных глазах Саймона, обращенных к нему, мелькала насмешка, а чувственные губы язвительно морщились. Можно было подумать, будто Лесли скучен и туповат. Время от времени, в какой-нибудь из их милых мирных вечеров, когда все были дома и болтали о том о сем, Саймон впадал в мрачное раздумье – сидел, уставясь в пустоту, словно мысли его далеко отсюда, и случалось, чуть погодя брал какую-нибудь книгу и принимался читать, как если бы никого тут кроме него не было. Будто беседу их и слушать не стоит. Это было просто даже невежливо. Но Винития Мейсон укоряла себя.

– Бедный малыш, где ж ему было научиться хорошим манерам. Я непременно буду очень хорошо с ним обходиться. Непременно его люблю.

Ее взгляд покоился на Чарли – такой он красивый, тоненький («а как быстро он из всего вырастает, рукава смокинга уже коротки»), каштановые волосы вьются, глаза синие, длинные ресницы и такая чистая кожа. Хотя он, быть может, и не блистает, как Саймон, но он способный и до кончиков пальцев артистичен. Но как знать, каким бы он стал, если бы она сбежала от Лесли и Лесли стал бы пить, и вместо того, чтобы наслаждаться утонченной атмосферой славного дома, ощущать ее благотворное влияние, он, как Саймон, вынужден был бы заботиться о себе сам? Бедняжка Саймон! На другой день она пошла и купила ему полдюжины галстуков. Он, кажется, обрадовался.

– До чего мило с вашей стороны. У меня в жизни не было больше двух галстуков сразу.

Винития так была растрогана собственной неожиданной щедростью, ее даже обдало волной сочувствия.

– Какой же ты одинокий, бедняжка! – воскликнула она. – Так ужасно, что у тебя нет родителей.

– Ну, поскольку моя мать была шлюха, а отец пьяница, смею сказать, я не очень по ним тоскую.

В семнадцать лет это было сказано.

Ну что поделаешь, не могла Винития его полюбить. Уж очень он резкий, циничный, бессовестный. Ее выводило из себя, что Чарли так им восхищается; Чарли считал, что у него выдающийся ум и его ждет блестящее будущее. Даже Лесли поражался его начитанностью и тем, с какой ясностью он совсем еще мальчишкой выражал свои мысли. В школе он уже был горячим сторонником социализма, а в Кембридже стал коммунистом. Лесли слушал его нелепые теории с добродушной терпимостью. По его мнению, то были всего-навсего слова, а слова – они слова и есть; самого существа жизни они не задевали.

– И если он и в самом деле станет известным журналистом или войдет в Парламент, что ж, совсем не вредно иметь друга во вражеском стане.

Лесли придерживался либеральных взглядов, весьма либеральных, даже не прочь был признать, что против иных убеждений социалистов не станет возражать ни один здравомыслящий человек; теоретически он и сам был за национализацию шахт, полагал также, что государство может управлять коммунальным обслуживанием не хуже частных компаний; но считал, что тут не следует заходить слишком далеко. К примеру, земельная рента – это уж никак не дело государства; или трущобы – в больших городах без них никак не обойтись, низшие классы, в сущности, предпочитают их образцовым жилым домам – Компания Мейсон чего тут

только не делала; но не может землевладелец позволить, чтоб в его домах жили бесплатно, он должен получать приличный доход со своего капитала, это только справедливо.

Саймон Фенимор решил, что несколько лет ему следует поработать иностранным корреспондентом,— он научится разбираться в политике европейских стран и, когда войдет в палату общин, будет уже знатоком, а ведь большинство лейбористов ничего в ней не смыслят; но когда Лесли повел его к владельцу газеты, который готов был предоставить блестящему молодому человеку эту возможность, он предупредил Саймона, что владелец газеты человек очень богатый, и если показать ему свои революционные пристрастия, нечего надеяться произвести на него благоприятное впечатление. Однако своими скромными манерами, исходящей от него энергией и непринужденным разговором Саймон произвел на магната наилучшее впечатление.

— Он прекрасно держался,— говорил потом Лесли жене.— У этого молодца хорошая голова на плечах. Я всегда тебе говорил, слова еще ничего не значат. Когда дело доходит до получения места и приличного заработка, он, как всякий разумный человек, готов забыть о своих теориях.

Винития с ним согласилась. Что ж, вполне возможно, тому пример их собственный опыт — они по-настоящему любят красоту и в то же время прекрасно понимают, как важна материальная обеспеченность. Взять хотя бы Лоренцо Медичи — он был преуспевающий банкир и до кончиков ногтей художник. Как это хорошо со стороны Лесли, что он так старается оказать услугу человеку, от которого нечего ждать благодарности, думала Винития. Во всяком случае, работа, полученная Саймоном, потребует его пребывания в Вене, и тем самым Чарли будет избавлен от влияния, которое всегда ее беспокоило. Именно из-за нелепых разговоров Саймона Чарли забрал себе в голову, что хочет быть художником. Это все прекрасно для Саймона, ведь у него ни денег, ни родства, а для Чарли подготовлено тепленькое местечко. Художников и без него хватает. Чарли так чист душой, такой у него прелестный характер, не поддастся он никакому дурному влиянию,— только это ее и утешало.

В эти самые минуты Чарли в полном одиночестве одевался, недоумевая, как же ему провести вечер. Он надел брюки, позвонил в

редакцию газеты, где работал Саймон, и сам Саймон ему и ответил.

– Саймон.

– Привет, уже приехал? Ты где?

Так он небрежно разговаривал, Чарли просто опешил.

– В гостинице.

– А, вот как? Нынче вечером заняты?

– Нет.

– Тогда давай пообедаем вместе, согласен? Я за тобой зайду.

И повесил трубку. Чарли был подавлен. Он-то ждал, что Саймону так же не терпится увидеться, как и ему, но по словам Саймона, по его тону можно было подумать, будто только случайные знакомые и тому решительно все равно встретятся они или нет. Конечно, они не виделись уже два года, и за это время Саймон мог измениться до неузнаваемости. Чарли вдруг испугался, как бы поездка в Париж не оказалась неудачной, и так волновался, ожидая Саймона, что его даже досада взяла. Но когда тот наконец вошел в комнату, Чарли увидел, что внешне он во всяком случае остался почти таким, как был. Сейчас, в двадцать три года, он был тощий и так и остался среднего роста. Одет убого, в коричневой тужурке и серых фланелевых брюках, без пальто, без шляпы. Длинное лицо похудело и побледнело, и черные глаза казались еще больше. Ни минуты не были они в покое. Холодные, блестящие, пытливые, подозрительные, они словно выражали характер таящегося за ними интеллекта. Рот большой, насмешливый и мелкие неровные зубы, напоминающие какого-нибудь мелкого хищного зверька. Со своим острым подбородком и выдающимися скулами он отнюдь не хорош собой, но лицо такое нервное, такое странно тревожное, что невольно привлечет внимание любого встречного. В иные мгновенья была в нем своего рода мучительная красота, не красота черт, но красота беспокойного, чего-то взыскующего духа. Тревожное чувство вызывала его улыбка, в ней не было веселья, она походила скорей на язвительную гримасу, а когда он смеялся, лицо страдальчески искажалось, словно от острой боли. Голос был высокий и, казалось, не вполне ему подчинялся, а в минуты волнения нередко становился визгливым.

Чарли подавил естественный порыв кинуться навстречу другу, со свойственной его счастливой натуре непосредственностью горячо пожать руку, и встретил его сдержанно. Услышав стук в дверь, крикнул «войдите» и продолжал шлифовать ногти. А Саймон даже не протянул ему руку. Лишь кивнул, будто они уже сегодня виделись.

– Привет! – сказал он. – Комната хорошая?

– О да. Гостиница, пожалуй, роскошней, чем я ожидал.

– Она удобная. И можно кого угодно привести. Я умираю с голоду. Пойдем пообедаем?

– Хорошо.

– Давай пойдем в «Купель».

Они прошли наверх, сели напротив друг друга за столик и заказали обед. Саймон окинул Чарли оценивающим взглядом.

– Я смотрю, ты все такой же красавчик, Чарли,– сказал он, криво усмехнувшись.

– К счастью, для меня красота не главное.

Чарли слегка робел. Время разрушило прежнюю многолетнюю близость, так, по крайней мере, он чувствовал сейчас. Он хорошо умел слушать, научился этому с раннего детства, бывало, он охотно сидел и молча слушал, когда Саймон красноречиво и путано изливал ему свои мысли. Чарли всегда бескорыстно им восхищался; он считал Саймона гением, и ему казалась вполне естественной роль второй скрипки. Он был привязан к Саймону, ведь тот совсем один на свете и никто особенно его не жаловал, тогда как сам он живет в любящей семье и в достатке; и ему приятно было, что Саймон, почти ко всем равнодушный, к нему привязан. Саймон часто бывал ожесточенным, язвительным, а вот с ним мог быть на удивление мягок. В одну из редких минут откровенности Саймон сказал ему, что он, Чарли, единственный человек, который хоть что-то для него значит. А вот сейчас Чарли с огорчением почувствовал, что между ними выросла перегородка. Беспokoйный взгляд Саймона перебежал с его лица на руки, застыв на миг на его новом костюме, потом устремлялся на воротничок и галстук; он чувствовал, что Саймон не предается ему, как только ему и предавался в былые времена, он закрыт, держится недоброжелательно и отчужденно; казалось, он присматривается к нему как к незнакомому, пытается понять, что перед ним за человек. Чарли стало не по себе, сердце его сжалось.

– Как тебе нравится быть дельцом? – спросил Саймон.

Чарли слегка покраснел. После всех их бесед в прошлом он был готов к тому, что Саймон его высмеет, раз он в конце концов уступил желанию отца, но слишком он был честен и не мог утаить правду.

– Нравится куда больше, чем я ожидал. Работа оказалась очень интересная и не слишком трудная. Остается вдоволь свободного времени.

– По-моему, ты поступил вполне разумно,– к его удивлению, сказал Саймон.– Чего ради было становиться живописцем или пианистом? В мире и так избыток искусства. Да и вообще искусство это – сущий вздор.

– Ох, Саймон!

– Ты все еще веришь в якобы истинную увлеченность искусством твоих высокочтимых родителей. Пора повзрослеть, Чарли. Искусство! Это лишь забавное развлечение для праздных богачей. В нашем мире, в мире, в котором мы живем, для подобной чепухи нет времени.

– По-моему...

– Знаю я, что по-твоему. По-твоему, оно несет красоту, придает смысл существованию. По-твоему, оно утешает уставших и удрученных и вдохновляет на более благородную и полную жизнь. Чушь! В будущем нам, возможно, опять понадобится искусство, но не для тебя, а для народа.

– О Господи!

– Народу нужен дурман, и, пожалуй, искусство лучшая форма, в какой его можно людям преподнести. Но они еще не готовы к этому. Сейчас им нужен другой наркотик.

– Какой же?

– Слова.

Чарли Мейсона поразило, с какой язвительной силой Саймон это произнес. Он улыбался, и хотя губы его кривились, Чарли заметил – в глазах на миг промелькнуло добродушное дружелюбие, которое он когда-то привык в них встречать.

– Нет, мой милый,– продолжал Саймон,– у тебя сейчас хорошее время, ходи каждый день в свою контору и радуйся. Это ненадолго, так что извлекай пока из этого побольше удовольствия.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Не важно. Поговорим об этом в другой раз. Скажи мне, что привело тебя в Париж?

– Ну, главное, я хотел повидать тебя.

Саймон густо покраснел. Доброе слово,– а когда Чарли говорил, можно было не сомневаться, что он говорит от чистого сердца,– кажется, отчаянно смутило Саймона.

– А кроме?

– Хочу посмотреть кое-какие картины, и если что-нибудь идет интересное в театре, я бы посмотрел. Ну и вообще неплохо бы позабавиться.

– Надо думать, это значит – ты не прочь заполучить женщину.

– Ты ведь знаешь, в Лондоне мне это не очень-то легко.

– Позднее я поведу тебя в S rail (сериаль – фр.).

– Что это такое?

– Увидишь. Это недурное развлечение.

Они заговорили о жизни Саймона в Вене, но он не слишком

распространялся о ней.

– Я не сразу освоился. Понимаешь, я ведь никогда прежде не был за границей. Я занимался немецким. Много читал. Думал. Встречался со многими интересными людьми.

– А потом, в Париже?

– Жил более или менее так же. Приводил в порядок свои мысли. Я еще молод. Впереди масса времени. Когда мой срок в Париже кончится, поеду в Рим, в Берлин, а может, в Москву. Если не найду работу в газете, займусь чем-нибудь еще. Всегда можно преподавать английский, с голоду не помру. Я родился не в роскоши, как-нибудь перебыюсь. В Вене я провел опыт самоограничения, месяц жил на хлебе и молоке. И вовсе это было не трудно. Теперь я умею обходиться одной трапезой в день.

– Как, ты сегодня ничего еще не ел?

– Когда встал, выпил чашку кофе, а в час – стакан молока.

– Но чего ради? Ты же достаточно зарабатываешь в своей редакции, разве нет?

– Только-только хватает на жизнь. Разумеется, достаточно, чтобы есть трижды в день. Но кто сумеет властвовать другими, если не научился властвовать собой?

Чарли усмехнулся. Он уже начинал чувствовать себя свободнее.

– Это звучит как крылатая фраза из цитатника.

– Возможно, – равнодушно отозвался Саймон. – Je prends mon bien o je le trouve (Беру, что подвернется под руку – фр.). Поговорка включает в себе самую суть вековой мудрости, и только дурак презирает банальности. Не думаешь же ты, будто я намерен всю жизнь быть иностранным корреспондентом лондонской газеты или учителем английского. Это мои Wanderjahre (годы странствий – нем.). Я намерен потратить их на то, чтобы получить образование, мне его не дали ни дурацкая школа, в которой мы с тобой учились, ни это провинциальное кладбище, что зовется Кембриджским университетом. Но я хочу достичь не только знания людей и книг; это всего лишь инструмент; мне нужно иное, чего достичь много трудней и что куда важнее: несокрушимая сила воли. Я хочу выковать себя сам, как железной дисциплиной выковывают послушника в ордене иезуитов. Мне кажется, я всегда себя знал; когда ты один на свете, и всем чужой, и всю жизнь живешь с людьми, для которых ничего не значишь, верней всего научишься понимать, что ты такое. Но мое знание родилось из чутья. А за эти два года за границей я узнал себя, как знаю пятую теорему Евклида. Знаю свою силу и свою слабость, и следующие пять-шесть лет готов потратить на то, чтобы развивать силу и избавиться от слабости. Я

хочу властвовать собой, как тренер властвует спортсменом, чтобы сделать из него чемпиона. У меня хорошая голова. У меня собачий нюх, и можешь мне поверить, в нашем мире это огромное преимущество. Я умею говорить. Людей можно заставить действовать не логикой, а искусными речами. Всеобщая глупость человечества такова, что им можно управлять словами, и как это ни унижительно, в настоящее время приходится с этим мириться, как миришься в кино с тем, что фильм пользуется успехом, только если у него счастливый конец. Я сейчас многого могу добиться словами, а скоро для меня вообще не будет невозможного.

Саймон отхлебнул белого вина, которое они пили, и, откинувшись на спинку стула, засмеялся. Лицо его исказилось нестерпимым страданием.

– Надо рассказать тебе, какой тут несколько месяцев назад вышел случай. Было собрание Британского легиона или что-то в этом роде, не помню в честь чего, в память павших воинов, что ли; должен был выступить мой шеф, но он простудился и послал меня. Нашу газету ты знаешь, уж до того патриотическая, не чураемся никакой грязи, только бы увеличить тираж, а морализируем вовсю. Мой шеф тут как раз на месте. За двадцать лет у него не было ни единой собственной мысли. Изрекает одни избитые истины, а когда рассказывает какую-нибудь непристойную историю, то уж такую протухшую, что она даже и не смердит. Но свое дело знает лучше некуда. Отлично понимает, что требуется владельцу газеты, и рад стараться. Ну, произнес я речь, какую он бы и сам произнес. Так и сыпал банальностями. Такие запуская трескучие фразы, аж все грохотало. Остроты выдавал с такой длинной бородой, что и записной остряк постыдился бы их произнести. А все так и покатывались со смеху. Такую разводил фальшивую чувствительность, я думал, их стошнит. А у них слезы текли ручьем. Я так бил в барабан патриотизма, будто девица из Армии спасения, берущая реванш за свое подавленное женское естество. А мне устроили бурную овацию. Да, то была всем речам речь. Когда вечер кончился, ихние заправки от избытка чувств жали мне руку. Я их пронял. И знаешь, каждое сказанное мной слово было сущей галиматьей, я прекрасно это понимал. Слова, слова, слова! Бедняга Гамлет.

– По-моему, ты поступил просто бессовестно, – сказал Чарли. – Сколько я понимаю, там ведь собрались самые обыкновенные, вполне приличные люди, чтобы совершить то, что им казалось правильным, и более того, чтобы доказать искренность своих убеждений, они готовы были раскошелиться.

– Надо думать. И по правде сказать, они выложили куда больше денег, чем когда-либо, и устроители сказали моему шефу – это благодаря моей

блестящей речи.

Чарли с его чистым сердцем стало не по себе. Перед ним сейчас сидел совсем не тот Саймон, какого он знал столько лет. Прежде, при всей нелепости его теорий и как бы вызывающе он их ни излагал, было в них своего рода благородство. Он был бескорыстен. Негодование его было направлено против угнетения и жестокости. Несправедливость приводила его в ярость. Но Саймон не заметил, какое впечатление он произвел на Чарли, а если заметил, остался к этому равнодушен. Он был поглощен собой.

– Но одного ума недостаточно, а красноречие, даже если оно и необходимо, в конечном счете презренный дар. Керенский обладал и тем и другим, а что они ему дали? Главное – это характер. Именно характер мне предстоит выковать. Я уверен, если постараться, можно сделать с собой что угодно. Все дело в силе воли. Мне надо так себя натренировать, чтобы меня не задевали ни оскорбление, ни равнодушие, ни насмешка. Мне надо достичь такой полной духовной отчужденности, чтобы, даже если меня посадят, я и в тюрьме чувствовал себя свободным как птица. Мне надо обрести такую силу, чтобы, совершая ошибки, я не пошатнулся, а учился на них. Мне надо обрести такую безжалостность, чтобы не только противостоять искушению пожалеть кого-то, но вовсе не испытывать жалости. Мне надо вырвать из сердца способность любить.

– Почему?

– Я не могу себе позволить, чтобы на мои суждения влияло какое бы то ни было чувство к кому-либо из людей. В целом свете только тебя я и любил, Чарли. И до тех пор не успокоюсь, пока до мозга костей не проникнусь уверенностью, что, если придет нужда поставить тебя к стенке и расстрелять, я сам без всяких колебаний и сожалений тебя пристрелю.

Глаза его словно затянула темная дымка, какая бывает на старом зеркале в покинутом доме; ртутная амальгама на нем потускнела, и когда смотришься в него, видишь не себя, но темную глубину, где словно таятся отраженья событий и страстей далекого прошлого, давно уже отпылавших и, однако, неким путающим образом донныне трепещущих загадочной взаимной жизнью.

– Ты, наверно, недоумевал, почему я не встретил тебя на вокзале?

– Было бы славно, если б встретил. Ты, наверно, не мог вырваться.

– Я понимал, что ты огорчишься. У нас в редакции это рабочие часы, надо быть под рукой, передавать по телефону в Лондон новости, поступившие за день, но сегодня канун Рождества, завтра газета не выходит и ничего не стоило улизнуть. Мне очень хотелось тебя встретить,

оттого я и не пошел. С той минуты, как я получил письмо и узнал, что ты приезжаешь, я не находил себе места, до того хотелось тебя увидеть. В те минуты, когда должен был прибыть поезд и я понимал – ты бродишь по перрону, высматриваешь меня и растерян в толпе и толчее, я взялся за книжку и стал читать. Сидел, заставлял себя углубиться в книгу и не позволял себе прислушиваться к телефону, который мог зазвонить в любую минуту. А когда он и вправду зазвонил, я не сомневался, это ты, и до того обрадовался, что дико озлился на себя. Даже готов был не снимать трубку. Ведь уже больше двух лет я боролся со своей привязанностью к тебе. Сказать, почему я хотел, чтобы ты приехал? Когда человека нет рядом, его идеализируешь, на расстоянии чувство обостряется, это верно, а увидишь его снова – и удивляешься, что ты в нем находил. Я думал, если что-то еще осталось от моей привязанности к тебе, тех нескольких дней, что ты тут проведешь, будет довольно, чтобы окончательно ее убить.

– Боюсь, ты сочтешь меня сущим тупицей, но я ума не приложу, зачем тебе это надо, – сказал Чарли, улыбаясь своей милой улыбкой.

– Ты и вправду туп.

– Пусть так, но все же в чем причина?

Саймон чуть нахмурился, и его беспокойный взгляд заметался, точно заяц, что пытается улизнуть от преследователя.

– Ты единственный на свете человек, которому я не безразличен.

– Неправда. Мои родители всегда были очень расположены к тебе.

– Чепуха. Твой отец был ко мне так же равнодушен, как к искусству, но ему было приятно и утешительно чувствовать себя благодетелем, приятно быть добрым к нищему сироте, опекать его и внушать ему почтение. Твоя мать считала меня бессовестным и своекорыстным. Ей ненавистно было то влияние, которое, как ей казалось, я оказываю на тебя, и она была оскорблена, потому что понимала, что я нахожу твоего отца закоренелым обманщиком, самым скверным обманщиком, – из тех, кто сам себя обманывает; только одно во мне ее устраивало – глядя на меня, она неизменно думала, слава Богу, что ты совершенно на меня не похож.

– Не очень ты жалуешь моих родителей, – мягко сказал Чарли.

Саймон будто и не слышал.

– Мы мигом с тобой поладили. Этот зануда Гете назвал бы наши отношения родством душ. Ты дал мне то, чего у меня никогда не было. Я никогда не знал, что значит быть мальчишкой, а с тобой я был мальчишкой. С тобой я забывался. Я тебя изводил и высмеивал, помыкал и пренебрегал тобой, но при этом обожал. С тобой я чувствовал себя на диво легко. С тобой я мог быть самим собой. Такой ты был непритязательный, веселый и

добродушный, так легко было тебя обрадовать, рядом с тобой мои измученные нервы отдыхали, и та неистовая сила, что без конца меня погоняла, ненадолго меня отпускала. Но не хочу я отдыха, не хочу, чтобы меня отпускало. Когда я гляжу на твою милую, застенчивую улыбку, моя воля мне изменяет. Не могу я себе позволить быть податливым, не могу себе позволить нежности. Когда я гляжу в твои синие глаза, такие дружелюбные, такие доверчивые, мне изменяет твердость, а я должен быть тверд. Ты мой враг, ненавижу тебя.

Иные слова Саймона сбивали Чарли с толку, вгоняли в краску, но сейчас он добродушно усмехнулся.

– Ох, Саймон, ну какую ерунду, какой вздор ты несешь.

Саймон пропустил его слова мимо ушей. Он впился в Чарли своими блестящими неистовыми глазами, будто хотел проникнуть в самые глубины его существа.

– Есть там что-нибудь? – сказал он, словно сам себе. – Просто уж такое у него выражение лица, что чудится, будто и душа у него особенная? – И продолжал, уже обращаясь к Чарли: – Я часто спрашивал себя, что же такое я нахожу в тебе. Дело не в том, что ты красавчик, хотя, смею сказать, и это тоже играет роль. И не в твоих способностях, способности как способности, ничего выдающегося. И не в твоей бесхитростной натуре и добром нраве. Но что же это в тебе с первого взгляда привлекает людей? Ты еще и пальцем не шевельнул, а уже наполовину одержал победу. Обаяние? Но что за штука обаяние? Вот одно из слов, значение которого всем нам известно, но никто не может точно его определить. Я знаю только, что, обладай я этим твоим даром, при моем уме и решительности я бы одолел любое препятствие. В тебе есть жизненная сила, и это часть твоего обаяния. Но у меня ее не меньше, я могу обходиться четырьмя часами сна и работать без усталости по шестнадцать часов в сутки. С первого взгляда я вызываю в людях неприязнь, мне приходится их завоевывать силой ума, приходится играть на их слабостях, как-то им угождать, приходится им льстить. Когда я приехал в Париж, мой шеф решил, что он в жизни не встречал такого противного молодого человека и такого самодовольного. Он, конечно, дурак. Ну как можно быть самодовольным, если знаешь свои недостатки, как я их знаю? Теперь он пляшет под мою дудку. Но чтобы достичь того, для чего тебе довольно одного взмаха твоих длинных ресниц, я должен работать как вол. Обаяние – важнейшая штука. За последние два года мне довелось познакомиться со многими выдающимися политическими деятелями, и оно присуще почти всем. У одних его больше, у других меньше. Но не может быть, чтобы всем оно было дано от

природы. Выходит, его можно обрести. Оно ничего не значит, но возбуждает в последователях слепую преданность, они пляшут под твою дудку, и в награду им довольно доброго слова. Я наблюдал, как такие политики пользуются своим обаянием. Они могут его выпустить, будто воду из крана. Быстрая дружелюбная улыбка, рука, готовая пожать вам руку. Теплые нотки в голосе, похоже, сулят вам благосклонность, столь явный интерес к вам заставляет вас вообразить, будто он только и делает, что печется о вашем благополучии, сердечность в обращении, которая ни о чем не говорит, внушает мысль, будто вы пользуетесь его доверием. Избитые фразы, несчетные обращения вроде «дорогой», «старина» или «дружище» очень лестны, когда их слышишь от влиятельного лица. Свобода и естественность, превосходная игра, которая выдается за проявление подлинной натуры, и пронизательность, что видит тщеславие дурака и уж нипочем его не заденет. Всему этому я могу научиться, тут надо только еще немного поднатужиться и еще чуть лучше владеть собой. Иной раз они, разумеется, пересаливают, эти деятели, их обаяние становится чересчур механическим и вовсе перестает действовать; люди понимают, что к чему, чувствуют, что их провели, и возмущаются. – Саймон опять посмотрел на Чарли своим пронизывающим взглядом. – У тебя обаяние от природы, вот почему оно такое сокрушительное. Ну не дико ли, что из-за какой-то крохотной черточки в лице жизнь для тебя так легка?

– Да о чем это ты?

– Одна из причин, по которым я хотел, чтобы ты приехал, это возможность разобраться, в чем оно состоит, твое обаяние. Сколько могу судить, оно зависит от некоей мускульной особенности нижнего века. Я уверен, секрет в складочке под глазами, когда ты улыбаешься.

Чарли смутился оттого, что стал предметом столь пристального изучения, и, желая перевести разговор, спросил:

– Но все эти твои старания, ради чего они?

– Как знать? Пойдем выпьем кофе в D me.

– С удовольствием. Вот только позову официанта.

– За обед плачу я. Это впервые плачу я, когда мы едим вместе.

Он достал из кармана деньги, чтобы рассчитаться, и среди бумажек оказалось несколько пригласительных билетов.

– Смотри-ка, у меня есть для тебя билет на Полуночную мессу в Сент-Эташ. Это считается лучшей церковной музыкой в Париже, и тебе, наверно, захочется пойти.

– Ох, Саймон, как это мило с твоей стороны. Я буду очень рад. Ты ведь

пойдешь со мной?

– Там видно будет поближе к делу. Во всяком случае на, возьми билеты.

Чарли положил билеты в карман. И они отправились к Дому. Дождь перестал, но тротуары еще не высохли и поблескивали под светом, падающим из витрины или от уличного фонаря. На улицах полно празднующихся. Они появляются из тени обнаженных деревьев, словно из-за кулис, проходят полосу света и вновь скрываются в провале тьмы. Подобострастные, но настойчивые алжирцы со свернутыми восточными коврами и переброшенными через плечо дешевыми мехами вглядываются в проходящих, выискивая возможных покупателей. Мальчишки с грубыми лицами, в фесках, с корзинами, полными арахиса, пронзительно и однообразно выкрикивают: «Cасаouettes, casaouettes!» На углу два негра, темные лица светло гримасой от холода, стоят и ждут, будто время остановилось и больше им делать нечего. Саймон и Чарли подошли к D me. Веранда, открытая летом, сейчас застеклена. Все столики на ней заняты, но когда друзья переступили порог, одна пара как раз поднялась уходить, и они заняли освободившиеся места. Было довольно прохладно, а Саймон вышел без пальто.

– Не замерзнешь? – спросил Чарли.– Может быть, пройдем внутрь?

– Нет, я научился не бояться простуды.

– А если простудишься, что делаешь?

– Не обращаю внимания.

Чарли много слышал об этом кафе, но никогда еще здесь не был и теперь с жадным любопытством рассматривал окружающих. Здесь были молодые люди в свитерах с высокими завернутыми воротами, иные с бородками, и девушки с непокрытыми головами и в плащах; наверно, художники и писатели, подумал Чарли и смотрел на них не без трепета.

– Англичане или американцы,– сказал Саймон, презрительно пожав плечами.– Почти сплошь бездельники и моты, вырядились для роли в спектакле, который давным-давно сошел со сцены.

Поодаль расположилась компания высоких светловолосых юнцов, похоже, скандинавы, а за другим столиком кружок смуглых, жестикулирующих, говорливых левантинцев. Но больше всего тут было французов, спокойных, прилично одетых лавочников, живущих по соседству, которые пришли сюда просто потому, что это удобно, и среди них вкраплены провинциалы, которые, как Чарли, все еще воображали, будто окажутся здесь среди художников и студентов.

– Дураки несчастные, у них кончились денежки, и теперь не по

карману жить, как полагается в Латинском квартале. Живут впроголодь, а работают как проклятые. Ты, наверно, читал «Vie de Boh me» («Жизнь богемы» – фр.). Родольф теперь носит аккуратный синий костюм, купленный в магазине готового платья, и на ночь кладет брюки под матрац, чтобы не теряли складку. Он считает каждый грош и старается не делать ничего такого, что угрожало бы его будущему. Мими и Мюзетта великие труженицы, состоят в профсоюзе, в свободный вечер ходят на партийные собрания и, даже если расстаются с девичьей честью, головы не теряют.

– А с тобой живет подружка?

– Нет.

– Что ж так? По-моему, это должно быть очень приятно. За год в Париже у тебя, наверное, был миллион возможностей завести подружку.

– Да, были у меня две или три. Даже удивительно, если подумать. Знаешь, что у меня за дом? Кабинет и кухня. Ванной нет. Консьержка должна бы каждый день приходить и убирать, но у нее расширение вен, и ей совсем неохота подниматься по лестнице. Вот и все, что я могу предложить, и, однако, нашлись три девицы, которые хотели разделить со мной мою нищету. Одна была англичанка, служила здесь в Международном коммунистическом бюро, другая – норвежка, работает в Сорбонне, а еще одна – француженка, казалось бы, от нее можно было ждать больше здравого смысла; она была портниха, без места.

Я познакомился с ней однажды вечером, когда вышел пообедать, она сказала, она весь день ничего не ела, ну, я ее угостил. Был субботний вечер, и она задержалась у меня до понедельника. Она хотела и дальше оставаться, но я велел ей уходить, и она ушла. Норвежка оказалась изрядной занудой. Хотела штопать мне носки, стряпать для меня и мыть пол. Когда я сказал, у нас дело не пойдет, она стала подкарауливать меня на улице, шла со мной рядом и говорила, что, если я не смягчусь, она покончит с собой. Она преподавала мне урок, и я его запомнил. В конце концов пришлось обойтись с ней поостроже.

– То есть?

– Однажды я ей сказал, надоели мне ее приставанья. Сказал, если еще раз заговорит со мной на улице, я собою ее с ног. Она, тупица безмозглая, не поняла, что я говорю всерьез. Назавтра выхожу я из дому часов в двенадцать, собрался в редакцию, смотрю, она стоит на другой стороне улицы. Подошла ко мне со своим обычным видом побитой собаки и заговаривает. Я и двух слов не дал ей сказать, двинул в подбородок, она и повалилась, будто кегля.

Глаза Саймона весело блеснули.

– И что потом?

– Не знаю. Наверно, поднялась. Я пошел своей дорогой и не обернулся. Во всяком случае, она поняла намек, больше я ее не видел.

Чарли стало и неловко и смешно. Но он устыдился и не дал себе воли.

– Одна была препотешная – английская коммунистка. Представляешь, дочь священника. Училась в Оксфорде и защищала диплом по экономике. Ужасно была благовоспитанная, ну настоящая леди, но блудила почему зря, для нее это было самое святое дело. Всякий раз, как ложилась с товарищем в постель, чувствовала, что служит Общему делу. Нам предстояло стать добрыми приятелями, успешно бороться плечом к плечу и все такое прочее. Его преподобие давал ей какую-то сумму на содержание, мы должны были соединить наши капиталы, превратить мой кабинет в некий Центр, приглашать товарищей на чай и обсуждать животрепещущие проблемы дня. Я всего лишь сказал ей несколько горьких истин и на этом с ней покончил.

Саймон опять разжег трубку, тихо улыбаясь этой своей страдальческой улыбкой, словно радовался шутке, которая причиняла ему боль. Чарли хотел бы кое-что ему высказать, только не знал, как это сделать, чтобы слова не прозвучали фальшиво и не вызвали у Саймона насмешки.

– Ты что ж, намерен изгнать из своей жизни все человеческие отношения? – неуверенно спросил Чарли.

– Решительно все. Мне надо быть свободным. Я не могу себе позволить, чтобы кто-то взял надо мной власть. Вот почему я прогнал портнишку. Она была всех опасней. Такая нежная, ласковая. В ней была кротость бедняков, которым невдомек, что жизнь не обязательно должна быть трудной. Полюбить ее я бы не полюбил, но ее благодарность, обожание, готовность порадовать, ее простодушная веселость были опасны. Я понимал, что она может стать привычкой, от которой я не смогу отделаться. Нет ничего на свете коварней женской лести; потребность в этой лести так в нас велика, что можно стать ее рабом. Я должен быть глух к лести, как стал равнодушен к оскорблениям. Ничто не привязывает к женщине сильнее благ, которыми ее одаряешь. Эта девушка была бы обязана мне всем, и я никогда бы не смог от нее отделаться.

– Но, Саймон, ты же, как все мы, не чужд увлечений. Тебе ведь всего двадцать три.

– И меня одолевают сексуальные желания? Вовсе не так одолевают, как ты воображаешь. Когда работаешь двенадцать – шестнадцать часов в сутки и спишь в среднем шесть часов и ешь только один раз, как бы тебя это ни удивляло, но желания притупляются. Париж на редкость хорошо

устроен, здесь легко удовлетворить сексуальный голод за умеренную плату и с наименьшей потерей времени, так что, когда я чувствую, что аппетит мешает мне работать, я пользуюсь женщиной, как слабительным при запоре.

Ясные синие глаза Чарли весело блеснули, и чудесная улыбка обнажила его крепкие белые зубы.

– Боюсь, ты лишаешь себя истинных удовольствий. Знаешь, ведь молодость так коротка.

– Наверно. Но чего-то достичь в мире может только человек целеустремленный. Граф Честерфилд лучше всех сказал о занятии любовью: удовольствие мимолетное, положение смехотворное, а плата черт-те какая. Это природный инстинкт, и его невозможно в себе задавить, но жалок и глуп тот, кто позволит ему сбить себя с избранного пути. Мне это уже не грозит. Еще через несколько лет я начисто избавлюсь от этого искушения.

– А если вдруг в один прекрасный день ты влюбишься, неужели сумеешь себе это запретить? Такое ведь случается даже с самыми рассудительными людьми.

Саймон бросил на него странный, пожалуй, даже враждебный взгляд.

– Я вырву любовь из своего сердца, как выдернул бы изо рта гнилой зуб.

– Это легче сказать, чем сделать.

– Знаю. Все, что чего-то стоит, сделать нелегко, но такова одна из странностей человеческой природы: когда это касается самосохранения, когда нужно сделать что-то, от чего зависит само твое существование, нужные силы находятся.

Чарли промолчал. Если бы кто-нибудь другой говорил с ним как говорил в этот вечер Саймон, он счел бы это позой, желанием пустить пыль в глаза. За три года в Кембридже он наслушался вдоволь сумасбродных речей и при своем здравомыслии и спокойном юморе научился придавать им не больше значения, чем они того заслуживали. Но он знал, Саймон никогда не говорил, лишь бы поразить собеседника. Слишком он презирал мнение окружающих и ради того, чтобы вызвать у них восхищение, не стал бы говорить не то, что думает. Он искренен и бесстрашен. Если он сказал, что думает то-то и то-то, без сомнения, так оно и есть, а если сказал, что поступил так или эдак, можно без колебаний ему поверить. Но и образ жизни Саймона, только что им описанный, показался Чарли ужасным и неестественным, и его идеи, изложенные столь подробно, что ясно было, как хорошо они продуманы, показались ему чудовищными и

возмутительными. Он заметил, что Саймон избегал говорить о цели, ради которой столь сурово себя тренировал; но в Кембридже он был ярким коммунистом, и естественно было предположить, что он готовился сыграть роль в революции, которую все они тогда предвкушали в ближайшем будущем. Чарли, больше всего поглощенный искусством, слушал горячие споры, гремевшие в комнате Саймона, с интересом, но вовсе не чувствовал, будто это касается и его. Если бы ему пришлось высказать свой взгляд на предмет споров, о котором он никогда всерьез не задумывался, он согласился бы со своим отцом: что бы ни происходило на Континенте, а уж Англии-то коммунизм не грозит; от каши, которую заварили в России, толку явно нет; в мире всегда были и всегда будут богатые и бедные; английский рабочий слишком трезво мыслит, он не позволит безответственным агитаторам себя провести, и притом ему совсем неплохо живется.

А Саймон все говорил. Ему не терпелось высказаться, ведь долгие месяцы он держал свои соображения под спудом, и к тому же, сколько он себя помнил, он всегда делился с Чарли. Хотя его размышлениям была присуща редкая глубина – одно из величайших его достоинств, он увидел, что они обрели большую ясность и силу, когда он смог высказать их этому превосходному слушателю.

– Знаешь, о любви говорится столько всякой чуши. Ей придают совершенно непомерное значение. Люди так говорят, будто само собой разумеется, что она величайшая ценность в жизни. Но вовсе это не само собой разумеется. С тех пор как Платон облек свою сентиментальную чувственность в пленительную литературную форму, древние уделяли ей не больше внимания, чем уделять разумно; мусульмане, здравые реалисты, всегда считали ее лишь физической потребностью; это христианство, подкрепляя свои эмоциональные увлечения неоплатонизмом, сделали ее целью, смыслом, основой и оправданием жизни. Но христианство – религия рабов. Измученным и угнетенным оно сулит небеса, дабы вознаградить их в будущем за их страдания на земле, и предлагает любовный дурман, чтобы они в состоянии были вынести страдания в настоящем. И этот наркотик, как всякий другой, расслабляет и губит тех, кто не может без него обходиться. Две тысячи лет христианство душило нас. Ослабляло нашу волю, лишало мужества. В нашем современном мире мы понимаем, что для нас очень-очень многое куда важнее любви, понимаем, что только простачки и тупицы позволяют любви влиять на их поступки, и, однако, на словах мы по-дурацки ее превозносим. В книгах, на театре, в церкви и с трибуны провозглашается все тот же сентиментальный

вздор, которым одурачивали рабов Александрии.

– Но, Саймон, рабы в древнем мире – это тот же сегодняшний пролетариат.

Губы Саймона дрогнули в улыбке, а взгляд, устремленный на Чарли, заставил того почувствовать, что он сморозил глупость.

– Знаю, – невозмутимо сказал Саймон.

На какое-то время его беспокойный взгляд перестал метаться, но хотя глаза его остановились на Чарли, казалось, они смотрели куда-то вдаль. Чарли не знал, о чем мысли Саймона, но чувствовал, что-то в них есть болезненное.

– Возможно, за две тысячи лет привычка сделала любовь необходимой человеку, и в этом случае ее следует принять в расчет. Но если уж наркотик надо пустить в ход, наилучшим образом это сделает как раз не наркоман. Если любовь можно поставить на службу какой-то стоящей цели, это по силам тому, кто сам к ней не восприимчив.

– Похоже, ты не хочешь мне сказать, чего ты надеешься достичь, отказывая себе во всем, что делает жизнь приятной. Уж не знаю, есть ли такая цель, которая стоит подобной жертвы.

– Что ты делал последний год, Чарли?

Внезапный вопрос этот казался неуместным, но Чарли ответил с присущей ему скромной откровенностью:

– Боюсь, ничего особенного. Почти всякий день ходил в контору, немало времени проводил на наших земельных угодьях, знакомясь с землями и всем прочим, играл в гольф с отцом. Он рад сыграть партию раза три в неделю. Еще продолжал занятия на фортепьяно. Бывал на многих концертах. Старался не пропускать художественные выставки. Иной раз бывал в опере и довольно часто в драматических театрах.

– Отлично проводил время?

– Недурно. Получал удовольствие.

– А на будущий год что намерен делать?

– Думаю, более или менее то же самое.

– А еще через год и еще?

– Через несколько лет я, вероятно, женюсь, и тогда отец удалится от дел и передаст свое место мне. Оно будет приносить мне тысячу в год, по нашему времени не так плохо, а рано или поздно мне достанется половина отцовской доли в Компании Мейсон.

– И тогда будешь жить примерно так, как жил до тебя твой отец?

– Разве только лейбористская партия конфискует Владение Мейсон. Тогда, конечно, мне придется нелегко. А до тех пор я вполне готов

заниматься моим скромным делом и получать от жизни побольше удовольствия, насколько позволит мой доход.

– А когда умрешь, не все ли равно будет, жил ты на свете или не жил?

На миг от этого неожиданного вопроса Чарли растерялся, он вспыхнул.

– Пожалуй, все равно.

– И тебя это устраивает?

– По правде сказать, никогда об этом не задумывался. Но если ты спрашиваешь впрямую, думаю, было бы глупо, если б не устраивало. Большого художника из меня никогда бы не вышло. Я обсуждал это с отцом, в то лето, когда мы ездили с ним с Норвегию удить рыбу. Он очень мило к этому отнесся. Славный мой старик, он отчаянно боялся меня обидеть, но я не мог не признать, что его слова справедливы. Природа наделила меня способностями, я могу сносно рисовать, сносно писать, сносно играть на сцене. Возможно, займись я чем-нибудь одним, я бы чего-то достиг. Но это всего лишь способности. Отец сказал, что этого еще недостаточно, и он был совершенно прав, и опять же он прав, что лучше быть хорошим дельцом, чем второсортным живописцем. В конце концов мне повезло, что старина Сайберт Мейсон женился на кухарке и принялся выращивать овощи на клочке земли, который благодаря тому, что Лондон разросся, стал большой ценностью. Тебе не кажется, что вполне довольно, если я исполню свой долг в той роли, какую мне, можно сказать, отвели провидение или случай?

Саймон улыбнулся самой снисходительной из всех улыбок, что кривила его губы в тот вечер.

– Наверно, так, Чарли. Но это не для меня. Лучше пусть бы меня сбил на улице автобус и раздавил в лепешку, чем ждать для себя такой жизни, какую рисуешь себе ты.

Чарли спокойно на него посмотрел.

– Видишь ли, Саймон, у меня счастливый характер, а у тебя нет.

Саймон усмехнулся.

– Надо поглядеть, нельзя ли это изменить. Давай пройдемся. Я поведу тебя в S rail.

3

Парадную дверь в весьма уважаемом доме, никак не бросающуюся в глаза, им открыл негр в турецком одеянии, и когда они вошли в неширокий, слабо освещенный коридор, навстречу вышла какая-то женщина. Она смерила их быстрым неприветливым взглядом, но едва узнала Саймона, лицо ее приняло радушное выражение. Они обменялись дружеским рукопожатием.

– Это мадемуазель Эрнестина, – сказал он Чарли, а потом ей: – Мой друг сегодня вечером приехал из Лондона. Хочет вкусить жизнь.

– Вы не ошиблись адресом.

Она окинула Чарли оценивающим взглядом. Чарли увидел женщину лет под сорок, красивую холодной строгой красотой, с прямым носом, тонкими накрашенными губами и твердым подбородком; она была изящно одета, в темном костюме почти мужского покроя. С воротником, в галстук, с булавкой в форме эмблемы знаменитого английского полка.

– Он хорош собой, – сказала она. – Наши дамы будут ему рады.

– А где нынче вечером мадам?

– Уехала домой провести праздники с семьей. Я вместо нее.

– Можно войти?

– Дорога вам известна.

Молодые люди прошли по коридору и, отворив дверь, оказались в просторной комнате, крикливо разубранной под турецкую баню. Вдоль стен стояли диванчики, а перед ними невысокие столики и стулья. Повсюду сидело немало народу, по большей части не в вечерних нарядах, но многие и в смокингах; мужчины сидели по двое, по трое, а за одним столиком смешанная компания, женщины в вечерних туалетах, видно, пришли посмотреть одну из достопримечательностей Парижа. Повсюду официанты в турецком одеянии принимали и выполняли заказы. На эстраде расположился оркестр, состоящий из пианиста, скрипача и саксофониста. Две скамьи, обращенные друг к другу, вдавались в площадку для танцев, и на них сидели десять или двенадцать молодых женщин. Они были в турецких комнатных туфельках, но на высоких каблуках, в широких шальварах до щиколоток из какой-то блестящей мерцающей ткани, а на голове небольшой тюрбан. До пояса они были обнажены. Другие девушки, в таком же наряде, сидели с мужчинами, которые угощали их вином. Саймон и Чарли сели и заказали бутылку шампанского. Заиграл оркестр.

Трое или четверо мужчин поднялись, направились к скамьям и выбрали партнерш для танца. Остальные девушки вяло танцевали друг с дружкой. Изредка они переговаривались, испытующе поглядывали на сидящих за столиками мужчин. Компания любителей достопримечательностей, с элегантными женщинами из иного мира, явно их занимала. Кроме того, что девушки были до пояса обнажены, на первый взгляд казалось, что заведение ничем не отличается от любого ночного клуба, разве что хватало места, чтобы с удобством потанцевать. Чарли заметил, что за соседним столиком двое мужчин с папками, из которых они по ходу разговора извлекали бумаги, вели деловую беседу так же естественно, как если бы сидели в кафе. Вот один из компании любителей достопримечательностей подошел к двум танцующим друг с другом девушкам, заговорил с ними, и они остановились, а потом подошли к его столику; одна из женщин, очень нарядная, в черном, с ниткой изумрудов на шее, встала и начала танцевать с одной из этих двух девушек. Вторая вернулась к скамье и села. *Sous-maitresse* (помощница хозяйки – фр.) в костюме мужского покроя подошла к Саймону и Чарли.

– Ну как, приглянулась какая-нибудь из девушек вашему другу?

– Присядь с нами и выпей. Он осматривается. Ночь еще только начинается.

Она села и, когда Саймон подозвал официанта, заказала оранжад.

– Жаль, что он впервые пришел сюда в такой тихий вечер. Понимаете, канун Рождества многим приходится сидеть дома. Но скоро будет веселей. На праздники в Париж съехалась уйма англичан. Я читала в газете, они заняли в «Золотой стреле» три купе. Великая нация англичане, у них есть деньги.

Чарли несколько робел и сидел молча, и она спросила Саймона, понимает ли он по-французски.

– Конечно, понимает. Он провел полгода в Турени, изучал язык.

– Дивный край! Прошлым летом во время отпуска я проехала по всему Шато. Анджела родом из Турени. Может, ваш друг захочет с ней потанцевать.– Она обернулась к Чарли.– Вы ведь танцуете, правда?

– Да, я люблю танцевать.

– Она очень образованная, из прекрасной семьи. Когда я была в Турени, я их навестила, и они благодарили меня за все, что я сделала для их дочери. Они весьма почтенные люди. Не думайте, будто мы берем кого попало. Мадам очень разборчива. У нас есть репутация, и мы ею дорожим. Родители этих барышень у себя в городе люди очень уважаемые. Поэтому дочкам и нравится работать в Париже. Понятно, им не хочется ставить

своих родных в неловкое положение. Жизнь тяжела, и каждому приходится зарабатывать свой хлеб кто как может. Я, конечно, не хочу сказать, что они по происхождению аристократки, но во Франции аристократия совершенно развращена, и что до меня, я куда больше ценю добропорядочных французских буржуа. Они опора страны.

Мадемуазель Эрнестина производила впечатление разумной женщины с твердыми принципами. Нельзя было не почувствовать, что ее взгляды на общественные вопросы современности вполне стоило бы послушать. Она похлопала Саймона по руке и опять обратилась к Чарли:

– Мне всегда приятно видеть мосье Саймона. Он добрый друг нашего дома... Он не слишком часто у нас бывает, но уж когда приходит, ведет себя как истый джентльмен. Никогда не напивается, как некоторые ваши соотечественники, и с ним очень интересно побеседовать. Мы здесь всегда рады журналистам. Иной раз мне кажется, мы ведем довольно замкнутую жизнь и нам полезно поговорить с кем-то кто в центре событий. Это выводит из привычной колеи. Он нам сочувствует.

В этом окружении Саймон, как ни странно, похоже, чувствовал себя будто рыба в воде и потому держался весело и непринужденно. Если то была игра, она отлично ему удавалась. Можно было подумать, он ощущает некое своеобразное родство с этой *sous-maitresse* публичного дома.

– Однажды он меня пригласил на генеральную репетицию в «Комеди Франсэз». Там был весь Париж. Академики, министры, генералы. Я была ошеломлена.

– Могу прибавить, ты выглядела изысканней всех женщин. Оттого, что меня увидели с тобой, моя репутация очень выиграла.

– Вы бы видели лица некоторых важных господ, которые у нас бывают, когда они увидели меня под руку с мосье Саймоном.

Чарли понимал, что, отправляясь на столь важную церемонию с подобной спутницей, Саймон сыграл с обществом своего рода шутку, вполне в духе его язвительного ума. Они еще поговорили, потом Саймон сказал:

– Послушай, дорогуша, я думаю, надо, чтоб наш молодой друг мог гордиться своим первым посещением этого дома. Не представить ли его княжне? Она ему понравится, как по-твоему?

Суровые черты мадемуазель Эрнестины смягчились улыбкой, и она весело взглянула на Чарли.

– Это мысль. Во всяком случае, такого опыта у него еще не было. У княжны прелестная фигурка.

– Давайте пригласим ее и угостим вином.

Мадемуазель Эрнестина подозвала официанта.

– Скажи княжне Ольге, пусть подойдет к нам.– Потом обратилась к Чарли: – Она русская. Конечно, со времени революции русские заполонили Париж, мы сыты по горло и ими самими, и их славянским нравом. Поначалу клиентов это забавляло, но теперь уже стало надоедать. Русские слишком шумные и вздорные. Сказать по правде, они варвары и не умеют себя вести. Но княжна Ольга не такая. У нее есть принципы.. Сразу видно, получила хорошее воспитание. Что-то в ней есть, в этом ей не откажешь.

Тем временем Чарли видел, как официант подошел к одной из девушек, сидящих на скамье, и заговорил с ней. Взгляд Чарли и прежде блуждал по залу, и эту девушку он заметил. Она сидела странно тихая, будто отрешенная от всего вокруг. Теперь она встала, бросила взгляд в их сторону и медленно направилась к ним. Была в ее походке своеобразная небрежность. Подойдя, она чуть улыбнулась Саймону, и они обменялись рукопожатием.

– Я видела, вы только пришли,– сказала она и села.

Саймон спросил, налить ли ей шампанского.

– Не откажусь.

– Это мой приятель, он хочет с тобой познакомиться.

– Я польщена.– Она без улыбки обратила взгляд на Чарли. Слишком долгий, как ему показалось, взгляд его смутил, но в ее глазах не было ни приветствия, ни приглашения; ее полнейшее безразличие даже уязвляло.– Он красивый.– Чарли робко улыбнулся, тогда и ее губы шевельнуло подобие улыбки.– Похоже, он добрый.

Ее кисейные бледно-голубые шальвары и тюрбан были густо усеяны серебряными звездочками. Роста она была не слишком высокого, лицо сильно накрашено – щеки чересчур нарумянены, губы ярко-алые, веки голубые, брови и ресницы начернены тушью. О ней безусловно не скажешь, что она хороша собой, всего лишь миловидна, слишком выдаются скулы, нос небольшой, мясистый, а глаза и не глубоко сидят в глазницах и не навывкате, но вровень с лицом, будто

окна в стене. Большие глаза, голубые, и голубизна, подчеркнутая и цветом тюрбана и тушью, точно пламя. Фигурка изящная, хрупкая, тоненькая, и кожа тела цвета светлого янтаря, на вид нежная и шелковистая. Грудь маленькая, круглая, девичья, и розовые хорошей формы соски.

– Почему ты не приглашаешь княжну потанцевать? – спросил Саймон.

– Вы позволите? – сказал Чарли.

Она едва заметно пожала плечом и без единого слова поднялась. А

мадемуазель Эрнестина, сказав, что ее призывают дела, оставила их. Никогда еще Чарли не танцевал с девушкой, раздетой до пояса, и ощущение было волнующее. Оттого, что его рука покоилась на ее обнаженном теле и он чувствовал прикосновение ее голой груди, у него перехватывало дыхание. Рука, которую он держал в своей, была маленькая и мягкая. Но он был воспитанный молодой человек с хорошими манерами и, полагая, что учтивость требует поддерживать беседу, говорил с нею в точности так, как если бы танцевал с незнакомой девушкой в Лондоне. Она отвечала довольно вежливо, но, казалось, не очень его слушала. Взгляд ее рассеянно блуждал по комнате и, похоже, не находил ничего интересного. Чарли чуть крепче прижал ее к себе, она же ничем не показала, что заметила это более тесное объятие. Приняла его молча. Оркестр перестал играть, и они вернулись к своему столику. Саймон сидел там один.

– Ну как, хорошо она танцует?

– Не очень.

И тут она рассмеялась. Наконец-то она оживилась, и смех был искренний, веселый.

– Прошу прощения, – сказала она по-английски. – Я была невнимательна. Я могу танцевать лучше, вот увидите.

Чарли вспыхнул.

– Я не знал, что вы говорите по-английски. Иначе я бы так не сказал.

– Но это же чистая правда. И вы сами так хорошо танцуете, вы заслуживаете искусной партнерши.

До сих пор они разговаривали по-французски. Чарли говорил не очень правильно, но бегло, и произношение у него было хорошее. Княжна же отлично владела французским, только с протяжной русской интонацией, что придавало ее речи чуждую французам монотонность. Ее английский был совсем недурен.

– Княжна получила образование в Англии, – сказал Саймон.

– Я жила там с двух лет до четырнадцати. С тех пор я редко говорила по-английски и забыла его.

– А где вы жили?

– В Лондоне. На Лэдброук Гроув. На Шарлот-стрит. Где подешевле.

– Ну, я вас оставлю, молодежь, – сказал Саймон. – Увидимся завтра, Чарли.

– На мессу ты не пойдешь?

– Нет.

И, небрежно кивнув, он ушел.

– Вы давно знаете мосье Саймона? – спросила княжна.

– Он самый давний мой друг.

– Он вам нравится?

– Конечно.

– Он совсем на вас непохож. Никогда бы не подумала, что он может вас привлечь.

– У него блестящий ум. И он был мне очень хорошим другом.

Она приоткрыла рот, готовая заговорить, но, видно, передумала и промолчала. Опять заиграла музыка.

– Потанцуете со мной еще раз? – спросила она.– Хочу показать вам, что умею танцевать, когда хочу.

Быть может, оттого, что ушел Саймон и она почувствовала себя свободнее, быть может, что-то было в поведении Чарли, его смущенье, когда он понял, что она говорит по-английски, но она наконец-то его заметила, ее обращение с ним переменилось. Появилась в ней доброта, неожиданная и привлекательная. Они танцевали, и она разговаривала почти весело. Вернулась к своему детству, не без мрачноватого юмора описывала нищету, в которой жила вместе с родителями в дешевых лондонских меблирашках. И сейчас, приноравливаясь к Чарли, она танцевала хорошо. Они снова сели, и Чарли взглянул на часы; дело шло к полуночи. Чарли не знал, как быть. Дома он часто слышал разговоры о церковной музыке в Сент-Эсташ, и нельзя же упустить случай послушать там мессу в канун Рождества. Волнение, связанное с приездом в Париж, разговор с Саймоном, новые ощущения, что пробудили в нем *S gail* и выпитое шампанское, – все это взбудоражило его, и ему отчаянно хотелось послушать музыку; это желание было ничуть не слабей, чем физическое желание, что вызывала в нем девушка, с которой он танцевал. Казалось, при том, как все складывается, уходить глупо; но его влекло туда, и в конце концов кому какое дело.

– Послушайте,– сказал он с премилой улыбкой.– У меня свидание. Мне сейчас надо уйти, но через часок я вернусь. Я вас застаю, да?

– Я всю ночь тут.

– Но вы не будете с кем-нибудь заняты?

– Почему вам надо уйти?

Он улыбнулся не без робости.

– Боюсь, это прозвучит нелепо, но приятель дал мне два билета на мессу в Сент-Эсташ, и может случиться, у меня никогда больше не будет такой возможности.

– С кем вы идете?

– Ни с кем.

– Можно мне пойти с вами?
– Вам? Но вы разве можете уйти?
– Я договорюсь с мадемуазель. Дайте мне две-три сотни франков, и я все устрою.

Он глянул на нее с сомнением. Наполовину раздетая, в зеленовато-голубом тюрбане и шальварах, сильно накрашенная, не тот у нее вид, чтоб идти с ней в церковь. Она заметила его взгляд и засмеялась.

– Я все на свете готова отдать, только бы пойти. Позвольте мне пойти, пожалуйста. Я за десять минут переоденусь. Это будет для меня такая радость.

– Хорошо.

Он дал ей денег, и, сказав, чтобы он ждал ее в парадном, она поспешила прочь.

Чарли заплатил за вино и через десять минут по часам вышел.

Едва он показался в коридоре, к нему подошла какая-то девушка.

– Видите, я не заставила вас ждать. Я объяснила мадемуазель. Да она все равно считает русских помешанными.

Он ее узнал, только когда она заговорила. На ней было коричневое пальто, юбка и фетровая шляпа. Она стерла весь грим, даже помаду с губ, и под тонкой светлой линией подбритых бровей глаза уже не казались ни такими большими, ни такими голубыми. В своем коричневом, изящном, но дешевом костюме она казалась невзрачной. Ее можно было принять за продавщицу, одну из тех, кого видишь в обеденный перерыв, когда они выплескиваются на боковые улочки из черного хода универсального магазина. Ее нельзя было назвать даже хорошенькой, но выглядела она совсем юной, и какое-то было смирение в ее облике, отчего у Чарли сжалось сердце.

– Вы любите музыку, княжна? – спросил он, когда они сели в такси.

Он не понимал, как ее называть. Даже пускай она проститутка, он чувствовал, что было бы грубо при таком недавнем знакомстве и при ее титуле называть ее Ольга, а если волею обстоятельств она оказалась в таком унижительном положении, тем более следует обходиться с ней уважительно.

– Знаете, я не княжна, и зовут меня не Ольга. В S rail меня так называют, потому что клиентам лестно думать, будто они ложатся в постель с княжной, а Ольгой зовут потому, что это единственное, кроме Саши, русское имя, которое им известно. Мой отец был профессором экономики в Ленинградском университете, а мать – дочь таможенного чиновника.

– Как же тогда вас зовут?

– Лидия.

Они приехали как раз к началу. Народу тьма, никакой надежды сесть. Было очень холодно, и Чарли предложил Лидии свое пальто. Она молча покачала головой. Боковые приделы были освещены ничем не затемненными круглыми плафонами, резкий свет бил в своды, в колонны, в темную толпу молящихся. Ярко освещены были и хоры. Чарли и Лидия нашли место у колонны; укрывшись в ее тени, можно было чувствовать себя отделенными от остальных. На возвышении расположился оркестр. У алтаря – священнослужители в великолепном облачении. Музыка казалась Чарли несколько напыщенной, и он слушал слегка разочарованный. Вопреки ожиданию она его не трогала, и солисты с их металлическими оперными голосами оставляли его равнодушным. Чувство такое, словно присутствуешь на спектакле, а не на религиозном действе, не ощущаешь ни малейшего благоговения. Но все равно он был рад, что пришел. От темноты, которую электрический свет прорезает, будто блестящий нож, готические линии храма кажутся еще суровей; мягкий блеск алтаря, где горит множество свечей, где священники свершают действия, значение которых ему неизвестно; молчащая толпа, которая, кажется, ни в чем не принимает участия, но тревожно замерла в ожидании, будто на вокзале у барьера, в ожидании, когда откроют проход; тяжелый запах мокрой одежды, сливающийся с благоуханием ладана; жестокий холод, что сковывает, словно чье-то незримое грозное присутствие; совсем не религиозные чувства рождало все это, но ощущение тайны, корнями уходящей в истоки человечества. Нервы молодого человека напряглись, и когда хор вдруг грянул в сопровождении оркестра *Adeste Fidelis* (Приидите верные – лат.), его неизвестно почему охватило ликованье. Потом мальчик запел гимн – высокий чистый голос серебром зазвучал в тишине, и звуки струились, поначалу чуть колеблясь, словно певец был не совсем в себе уверен, струились, точно кристально чистая вода по белому каменистому ложу ручья, а потом певец обрел уверенность, огромные темные ладони подхватили мелодию и подняли к замысловатым изгибам арок и еще выше, в ночь под купол свода. Чарли вдруг осознал, что стоящая рядом с ним Лидия всхлипывает. Он огорчился, но, воспитанный и по-английски сдержанный, сделал вид, будто ничего не заметил; он подумал, что в темной церкви, слушая этот чистый мальчишеский голос, она вдруг устыдилась. Чарли был впечатлительный юноша и прочел много романов. Ему казалось, он догадывается, что она чувствует, и стало бесконечно жаль ее. Странно только, что ее так взволновала отнюдь не лучшая музыка. Но

Лидия уже по-настоящему расплакалась, и теперь нельзя было делать вид, будто он ничего не замечает. Он протянул руку, взял ее руку в свою, надеясь таким образом выразить сочувствие и утешить, но она почти грубо вырвала руку. Теперь ему сделалось неловко. Лидия плакала так отчаянно, что стоящим поблизости, конечно, было слышно. В какое нелепое положение она себя поставила от стыда Чарли бросило в жар.

– Может быть, выйдем? – шепотом спросил он.

Лидия сердито помотала головой. Рыдания сотрясали ее все сильнее и сильнее, и вдруг она опустилась на колени, уткнулась лицом в ладони и неудержимо разрыдалась. Она странно скорчилась, стала похожа на грудку сброшенной одежды, и, не вздрагивая у нее плечи, можно было подумать, что она в глубоком обмороке. Она лежала у основания высокой колонны, и Чарли, безмерно смущенный, стоял подле нее, стараясь заслонить ее от чужих взглядов. Многие с любопытством посматривали на нее, потом на него. Он злился, представляя, что они думают. Музыку приглушили, хор умолк, установилась благоговейная волнующая тишина. Причащающиеся ряд за рядом продвигались к алтарю, поднимались по ступеням, чтобы принять частицу тела Христова, которую давал им священник. Деликатность мешала Чарли посмотреть на Лидию, и он не отрывал глаз от ярко освещенного алтаря. Но когда она чуть приподнялась, тотчас это заметил. Она повернулась к колонне и, опершись о нее рукой, спрятала лицо в изгибе локтя. Безудержные слезы измучили ее, но в том, как она прислонилась, припала к холодному камню, упираясь коленями в каменные плиты, такое было безысходное горе, что видеть ее сейчас было еще невыносимей, чем скорчившуюся на полу, сокрушенную, точно застигнутую неестественной, насильственной смертью.

Служба подошла к концу. Орган присоединился к оркестру, чтобы в заключение исполнить соло, и увеличивающийся поток людей, спешащих сесть в свои автомобили или поймать такси, устремился к выходу. Но вот все кончилось, и огромная толпа хлынула из церкви. Чарли подождал, пока они с Лидией остались одни у колонны и последняя волна уже катилась к дверям. И положил руку на плечо девушки.

– Идемте. Надо уходить.

Он обхватил ее рукой и поставил на ноги. Она покорно подчинилась. Только глаза отвела. Чарли взял ее под руку и повел по проходу между рядами, потом опять чуть задержался, пока в церкви не осталось всего человек десять – двенадцать.

– Хотите немного пройти пешком?

– Нет, я так устала. Лучше сядем в такси.

Но все равно несколько шагов пройти пришлось – такси подвернулось не сразу. Когда они оказались подле уличного фонаря, Лидия остановилась, вынула из сумки зеркало и посмотрелась. Глаза распухли. Она достала пуховку и припудрилась.

– Сейчас ничем не поможешь, – сказал Чарли с доброй улыбкой. – Лучше зайдем куда-нибудь, выпьем. В таком виде вы не можете вернуться в S rail.

– Я, если плачу, глаза всегда распухают. Чтоб все прошло, нужно несколько часов.

В эту минуту показалось такси, и Чарли его подозвал.

– Куда поедем?

– Все равно. В «Селект». Бульвар Монпарнас.

Чарли дал шоферу адрес, и они поехали вдоль реки.

Когда подъехали, он заколебался – казалось, выбранный Лидией ресторан переполнен, но она вышла из такси, и он последовал за ней. Несмотря на холод, много народу сидело на террасе. Они нашли столик в помещении.

– Я пройду в дамскую комнату, вымою глаза.

Через несколько минут она вернулась и села рядом. Она пониже надвинула шляпу, чтобы скрыть распухшие веки, и припудрилась, но не нарумянилась, лицо очень бледное. Сейчас она была совсем спокойна. О приступе рыданий, случившемся с ней, не сказала ни слова, и можно было подумать, она считает его вполне естественным и не требующим извинения.

– Я очень голодная, – сказала она. – Вы, наверно, тоже.

Чарли был голоден как волк и, ожидая Лидию, спрашивал себя, не слишком ли будет вульгарно, если он при таких обстоятельствах закажет себе яичницу с беконом. После ее слов он вздохнул с облегчением. Оказалось, она тоже мечтает о яичнице с беконом. Он хотел заказать бутылку шампанского, думал, ей надо подбодриться, но она не позволила.

– Чего ради вам тратиться? Лучше выпьем пива.

Они с аппетитом уплетали нехитрую еду. Немного поговорили. Воспитанный Чарли попытался вести учтивую беседу, но Лидия не поддержала ее, и вскоре они замолчали. Когда покончили с едой и выпили кофе, Чарли спросил ее, что она хочет делать дальше.

– Я бы еще посидела здесь. Мне в «Селекте» очень нравится. Тут уютно и по-домашнему. Мне нравится смотреть па людей, которые сюда приходят.

– Ладно, посидим тут.

Не сказать, чтоб он так предполагал провести первую ночь в Париже. Надо ж было сделать такую глупость – повести ее на рождественскую мессу. У него недоставало мужества обойтись с ней не по-доброму. Но, видно, что-то в его тоне ее насторожило, потому что она полуобернулась, заглянула ему в лицо. И опять улыбнулась той улыбкой, которая уже раза три освещала ее лицо. Странная то была улыбка. Она едва тронула губы, не веселая, но не лишенная доброты, скорее ироническая, чем веселая, она появлялась редко и как бы нехотя, были в ней терпение и разочарование.

– Что вам за удовольствие здесь сидеть. Может быть, оставите меня здесь, а сами вернетесь в Serail?

– Нет, это не годится.

– Знаете, я ведь не прочь посидеть одна. Бывает, прихожу сюда сама и сижу часами. Вы приехали в Париж развлечься. И глупо было бы иначе.

– Если я вам не наскучил, я бы хотел посидеть тут с вами.

– Но почему? – Она бросила на него презрительный взгляд. – Вы что, считаете нужным разыгрывать благородство и жертвовать собой? Или вам жаль меня? Или просто любопытно?

Чарли не понимал ее – почему она будто сердится на него, почему старается уязвить?

– Отчего же мне жалеть вас? Или любопытничать?

Он хотел дать ей понять, что она не первая проститутка в его жизни и что на него вряд ли произведет впечатление рассказ о ее судьбе, вероятно, грязный и скорее всего далекий от правды. Лидия уставилась на него с откровенным безмерным изумлением.

– Что вам рассказал обо мне ваш друг Саймон?

– Ничего.

– Почему же тогда вы сейчас покраснели?

– Я не знал, что покраснел, – улыбнулся Чарли.

На самом деле Саймон сказал, что с ней можно неплохо позабавиться, она своих денег стоит, но не те это были слова, чтоб повторить ей сейчас. Бледная, с опухшими веками, в дешевом коричневом платье и черной фетровой шляпе, она совсем не походила на обнаженное до пояса существо в голубых шальварах, в котором была какая-то экзотическая, вызывающая любопытство привлекательность. Сейчас перед ним сидела совсем другая женщина, скромная, благопристойная, серьезная, Чарли и помыслить не мог о том, чтобы лечь с ней в постель, все равно как с какой-нибудь из младших учительниц в Пэтсиной школе. Лидия снова умолкла. Кажется, замечталась. А когда наконец заговорила, можно было подумать, она не к Чарли обращается, а продолжает ход своих размышлений:

– Если я сейчас плакала в церкви, то вовсе не из-за того, о чем вы подумали. Из-за того, видит Бог, я уже довольно наплакалась, а теперь совсем из-за другого. Мне так стало одиноко. Все эти люди, они у себя на родине, и у них есть дом, завтра они будут праздновать Рождество со своими родными, с отцом и матерью, с детьми; некоторые, как вы, пришли просто послушать музыку, а некоторые – неверующие, но в те минуты их всех соединяло общее чувство; этот обряд они знали всю жизнь, его смысл у них в крови, каждое слово священника и каждое его движение им знакомо, и даже если умом они не веруют, благоговение, чувство тайны у них в крови, и они веруют в сердце своем; это часть воспоминаний о детстве, о садах, где они играли, о жизни на природе, о городских улицах. Это связывает их друг с другом, они становятся единым целым, и тайное чутье подсказывает им, что они родные друг другу. А я чужая. У меня нет родины, нет дома, нет языка. Я сама по себе. Я отверженная.

У нее вырвался печальный смешок.

– Я русская, а я только то и знаю о России, что читала. Я тоскую по бескрайним полям золотых хлебов, по серебристым березовым рощам, о которых читала в книгах, но, как ни стараюсь, не могу себе их представить. Москву я знаю такой, какой видела ее в кино. Иногда ломаю голову, пытаюсь вообразить себя в русской деревне, в беспорядочном селении, где дома сложены из бревен, а крыши соломенные, я читала о них у Чехова, и не могу, и знаю, мне видится совсем не то, что на самом деле. Я русская, а на своем родном языке говорю хуже, чем по-английски и по-французски. Толстого и Достоевского мне легче читать в переводе. Для своих соотечественников я такая же чужая, как для англичан и французов. Вы, у кого есть дом, и родина, и любящие вас люди, и еще другие, у кого те же обычаи, что и у вас, и вы их понимаете, даже если с ними незнакомы, – разве вы можете сказать, что значит быть одной в целом свете?

– И у вас совсем нет родных?

– Никого. Мой отец был социалист, но он был тихий, мирный человек, поглощенный своими учеными занятиями, и не участвовал в политике. Он приветствовал революцию и думал, что она откроет для России новую эру. Он принял большевиков. Только просил, чтобы ему позволили продолжать работать в университете. Но его уволили, а потом он узнал что ему грозит арест. Мы бежали через Финляндию, отец, мать и я. Мне было два года. Двенадцать лет мы жили в Англии. Как жили, одному Богу известно. Иногда отцу перепадала кой-какая работа, иногда люди нам помогали, но отец тосковал по родине. Прежде, кроме студенческих лет в Берлине, он никогда не уезжал из России; он не мог привыкнуть к английскому образу

жизни и наконец почувствовал, что должен вернуться. Мать умоляла его не ехать. Он ничего не мог с собой поделать, не мог он не поехать, слишком сильно было желание; он связался с людьми из русского посольства в Лондоне, сказал, что готов выполнять любую работу, какую бы ему ни предложили большевики; в России у него было имя, в свое время книги его удостаивались всяческих похвал, в своей области он был признанным авторитетом. Ему чего только не наобещали, и он отправился. Едва пароход пристал, отца схватили агенты Чека. Мы слышали, что его посадили в тюремную камеру на четвертом этаже и потом выбросили из окна. А сказали, что он покончил с собой.

Лидия коротко вздохнула и зажгла очередную сигарету. После ужина она курила без передышки.

– Отец был мягкий, кроткий. В жизни никого не обидел. Мама мне говорила, что за все годы их семейной жизни он ни разу ей резкого слова не сказал. Оттого что он помирился с большевиками, люди, которые до этого нам помогали, перестали помогать. Мама решила, нам лучше уехать в Париж. У нее здесь были друзья. Они нашли ей работу – она отправляла письма. Я стала ученицей портнихи. Мама умерла, потому что на двоих еды не хватало, и она отказывала себе, чтобы я не ходила голодная. Я нашла работу у одной портнихи, она платила мне половину обычного жалованья, потому что я русская. Если бы те мамины друзья, Алексей и Евгения, не приютили меня, я бы тоже голодала. Алексей играл на скрипке в оркестре в русском ресторане, а Евгения работала в дамской уборной. У них было трое детей, и мы вшестером жили в двух комнатах. Алексей по профессии адвокат, он был одним из папиных учеников в университете.

– Вы и сейчас не потеряли их из виду?

– Нет, конечно. Теперь они очень бедствуют. Понимаете, всем обрыдли русские, обрыдли русские рестораны и русские оркестры. Алексей уже четыре года без работы. Он ожесточился, стал вздорным, много пьет. Одну их дочь взяла на попечение тетушка, живущая в Ницце, а другая пошла в услужение, сын теперь наемный танцор и промышляет в ночных клубах на Монмартре; он часто бывает здесь, не знаю, почему сегодня его нет, может, с кем-то поладил. Отец, когда пьян, бьет его и проклиняет, но сотня франков, которые он приносит в дом, если ему повезет найти пару, помогает сводить концы с концами. Я до сих пор живу у них.

– Вот как?– удивился Чарли.

– Надо же мне где-то жить. В Serail я ухожу только вечером, и если дела там идут вяло, в четыре-пять утра уже возвращаюсь. Но они живут ужасно далеко.

Они немного помолчали.

– Что вы имели в виду, когда сказали, что плакали не из-за того, о чем я подумал? – спросил наконец Чарли.

Она опять глянула на него подозрительно и с любопытством.

– Вы хотите сказать, что и вправду не знаете, кто я? Я думала, ваш друг Саймон потому и послал за мной.

– Ничего он мне не говорил... сказал только, что с вами я не зря потрачу время.

– Я жена Робера Берже. Вот почему меня взяли в Serail, хоть я и русская. Это приятно возбуждает клиентов.

– Боюсь, я совершенный тупица, но, право, я не понимаю, о чем вы толкуете.

У Лидии вырвался короткий, резкий смешок.

– Такова слава. Имя, которое у всех на устах, ничего не значит там, куда можно доехать за один день. Робер Берже убил английского букмекера Тедди Джордана. Его приговорили к пятнадцати годам каторжных работ. Он в Сен-Лоране, во Французской Гвиане.

Сказала она это так буднично, что Чарли ушам своим не поверил. Слова Лидии привели его в ужас, испугали, потрясли.

– Неужели вы правда не знали?

– Даю вам слово. Сейчас, когда вы об этом заговорили, мне вспоминается, я читал об этом в английских газетах. Это произвело изрядную сенсацию, ведь... ведь жертвой был англичанин, вот только я забыл имя... имя... вашего мужа.

– Во Франции это тоже произвело сенсацию. Суд длился три дня. Люди рвались туда. Газеты отвели ему целиком первые полосы. Все только об этом и говорили. Да, была настоящая сенсация. Вот тогда я впервые увидела вашего друга Саймона, во всяком случае он впервые увидел меня, он давал материалы об этом деле в свою газету, а я была в суде. Захватывающий получился процесс, журналистам было на чем показать себя. Попросите Саймона, пускай он вам расскажет. Он гордится статьями, которые тогда написал. Они были до того умные, отрывки из них перевели и напечатали во французских газетах. Саймон очень на этом выдвинулся.

Чарли не знал, что сказать. Он злился; это вполне в духе Саймона, – разыграть такую вот злую шутку и поставить приятеля в дурацкое положение.

– Для вас все это, наверно, было ужасно, – запинаясь, сказал он.

Лидия чуть повернулась, заглянула ему в глаза. Чарли, чья жизнь всегда проходила в приятном окружении, никогда еще ни на одном лице не

видел такого чудовищного отчаяния. В лице Лидии сейчас не осталось почти ничего человеческого, оно скорее походило на одну из японских масок какие художник создает, чтобы выразить то или иное чувство. Чарли бросило в дрожь. До сих пор ради него Лидия почти все время говорила по-английски, лишь изредка переходя на французский, когда ей трудно было что-то выразить на непривычном языке, но теперь она совсем перешла на французский. Протяжная русская интонация окрашивала ее речь обычной печалью и в то же время придавала словам какую-то нереальность. Будто человек говорит во сне.

– Мы были женаты всего полгода. Я ждала ребенка. Может быть, именно это спасло Роберу жизнь. Это и его молодость. Ему был только двадцать один год. Ребенок родился мертвым. Слишком я перестрадала. Понимаете, я любила мужа. Он был моей первой и единственной любовью. Когда его осудили, хотели, чтоб я с ним развелась, – по французским законам ссылка на каторгу достаточное для этого основание; мне говорили, мол, жены каторжников всегда с ними разводятся, и злились, что я не захотела. Защитник Робера был ко мне очень добр. Он говорил, я сделала все, что было в моих силах, у меня было трудное время, но я до конца поддерживала мужа, а теперь должна подумать о себе, я молода и должна начать новую жизнь, а если я останусь связанной с каторжником, моя жизнь станет еще трудней. Он возмущался, когда я говорила, что люблю Робера, что кроме Робера для меня ничего не существует, что бы он ни сделал, все равно его люблю, и если б было можно и если б он захотел, я с радостью к нему бы поехала. Наконец защитник пожал плечами, сказал, что с русскими ничего нельзя поделать, но если я когда-нибудь передумаю и захочу получить развод, пускай я к нему приду, и он мне поможет. И Евгения и Алексей, бедняга Алексей, никчемный пьяница, оба не давали мне покоя. Говорили, мол, Робер подлец, безнравственный человек, говорили, это позор, что я его люблю. Как будто можно разлюбить, потому что любить его позорно! Назвать человека подлецом проще простого. А что это значит? Он убил и пострадал за свое преступление. Никто из них не знал его, как я. Понимаете, он меня любил. Они не знали, какой он нежный, какой обаятельный, какой веселый, ребячливый. Говорили, он чуть меня не убил, как убил Тедди Джордана. Они не понимают, что от этого я его только больше люблю.

Чарли, который ничего не знал об обстоятельствах дела, по речам Лидии ни в чем не мог толком разобраться. И спросил:

– Почему он должен был вас убить?

– Когда он вернулся домой... после того, как убил Джордана... было

очень поздно, и я уже легла, а его мать его дожидалась. Мы жили вместе с ней. Он был в отличном настроении, но мать с первого взгляда поняла, что он совершил что-то ужасное. Понимаете, она уже много недель это предчувствовала и была вне себя от тревоги.

«Ты где так задержался?» – спросила она.

«Я-то? А нигде,– ответил он.– Тут недалеко, с ребятами.– Он усмехнулся и потрепал ее по щеке.– Так легко убить человека, мама,– сказал он.– Так легко, ну прямо смех».

Тут она поняла, что он натворил, и расплакалась.

«Бедная твоя жена,– сказала она.– Какой же несчастной она теперь из-за тебя станет».

Он понурился и вздохнул.

«Может, лучше убить и ее тоже»,– сказал он.

«Робер!» – крикнула мать.

Он покачал головой.

«Не бойся, у меня бы не хватило мужества,– сказал он.– А все-таки, если б я убил ее, пока она спит, она бы ничего не узнала».

«Боже мой, ну почему ты это сделал?»-воскликнула мать.

Он вдруг засмеялся. У него был удивительно веселый, заразительный смех. Услышишь, и сразу делается радостно.

«Не дури, мать, я просто шучу,– сказал он.– Ничего я такого не сделал. Иди ложись спать».

Мать понимала, что он врет. Но только это он и сказал. Наконец она ушла к себе. Домик был крохотный, в Нейи, но при нем был садик и в конце его небольшой флигель. Когда мы поженились, она отдала нам дом, а сама переехала во флигель, чтоб быть рядом с сыном, но не стеснять нас. Робер вошел в нашу комнату и разбудил меня поцелуем в Глаза его сияли. У него глаза голубые, не такие голубые как ваши, скорее серые, но большие и очень блестяще Они почти всегда улыбались. И были поразительно живые.

Постепенно речь Лидии замедлилась. Словно пришла ей на ум какая-то мысль, и теперь она взвешивала каждое слово. Со странным выражением она посмотрела на Чарли.

– Ваши глаза чем-то напоминают мне о Робере, и овал лица у вас такой же. Он пониже ростом, и не было у него этого типично английского цвета лица. Красивый он был, очень.– Она чуть помолчала.– Какой же злой шут этот ваш Саймон.

– Что вы хотите этим сказать?

– Ничего.

Лидия облокотилась на стол, подалась вперед, уперлась подбородком в ладони и продолжала на одной ноте, будто под гипнозом рассказывала о чем-то, что проходило перед ее отсутствующим взглядом.

– Я проснулась, открыла глаза и улыбнулась.

«Как ты поздно, – говорю. – Скорей ложись».

«Мне сейчас не уснуть, – сказал он. – Я слишком взвинчен. И голодный. В кухне есть яйца?»

К тому времени я уже совсем проснулась. Вы не представляете, как он был хорош, когда сидел на кровати в своем новом сером костюме. Он всегда со вкусом одевался и замечательно умел носить вещи. Волосы у него были очень красивые, темные, вьющиеся и длинные, он зачесывал их назад.

«Я надену халат, и пойдем посмотрим», – сказала я.

Мы прошли в кухню, я достала яйца и лук. Поджарила яичницу с луком. Сделала несколько тостов. Иногда, возвратясь домой после театра или концерта, мы сами что-нибудь себе готовили. Он любил яичницу с луком, и я готовила ее в точности как ему нравилось. Мы любили вот так скромно поужинать вдвоем, в кухне. Робер спустился в погреб и принес бутылку шампанского. Я знала, его мать рассердится, то была последняя бутылка из полудюжины, которую Роберу подарил один его приятель по скачкам, но он сказал, ему сейчас требуется шампанское, и открыл бутылку. Он с жадностью ел яичницу и залпом осушил бокал шампанского. В ту ночь какое-то в нем было неистовство. Когда мы только вошли в кухню, я заметила, что он очень бледен, хотя глаза у него ярко блестели, и не знай я, что это совсем не в его духе, я бы подумала, что он выпил, но скоро бледность прошла. Я решила, он просто устал и проголодался. Конечно же, он весь день носился сломя голову, и возможно, у него маковой росинки во рту не было. Хотя мы расстались всего несколько часов назад, он был вне себя от радости, что мы опять вместе. Он без конца меня целовал, а когда я жарила яичницу, хотел меня обнять, и пришлось его оттолкнуть, а то вдруг бы я испортила свою стряпню. Но я не могла удержаться от смеха. Мы сели за кухонный столик рядышком, ближе некуда. Какими только ласковыми любовными именами он меня не называл и все не мог оторвать от меня рук, будто мы женаты не полгода, а всего неделю. Мы поужинали, и я хотела вымыть посуду, чтоб утром, когда придет мать, она не застала никакого беспорядка, но он мне не позволил. Ему не терпелось со мной лечь.

Он был будто одержимый. Никогда я не думала, что мужчина может так любить женщину, как он любил меня той ночью. Каким обожанием я была полна, я не знала, что женщина способна на такое. Он был ненасытен.

Казалось, его страсть невозможно утолить. Ни у одной женщины никогда не было такого любовника, как у меня в ту ночь. И он был моим мужем. Он был мой! Мой! Я его боготворила. Позволь он мне, я бы целовала ему ноги. Когда, измучась, он наконец уснул, в просвет между занавесями заглянула утренняя заря. Но я уснуть не могла. Светало, и я не сводила с него глаз; на его мальчишеском лице не было ни морщинки. Он спал, заключив меня в объятия, и его губы чуть улыбались счастливой улыбкой. Наконец я тоже уснула.

Когда я проснулась, он еще спал, я тихонько вылезла из постели, чтобы его не потревожить. И пошла в кухню сварить ему кофе. Мы были очень бедны. Раньше Робер служил в одной маклерской конторе, но поссорился с хозяином и ушел от него, и с тех пор постоянной работы у него не было. Он был без ума от скачек, и иногда ему кое-что перепало, хотя мать терпеть не могла это его занятие, а иной раз он немного подрабатывал, перепродавая подержанные автомобили, но, по сути, мы жили на пенсию его матери, она была вдова военного доктора и еще кое-что сумела отложить. Служанки у нас не было, и всю домашнюю работу мы делали вдвоем со свекровью. Я застала ее на кухне, она чистила к обеду картошку.

«Как Робер?» – спросила она.

«Он еще спит. Видели бы вы, какой он сейчас. Волосы взъерошены, и он будто мальчишка шестнадцати лет».

Кофе стоял на полке в камине, молоко было теплое. Я его вскипятила, выпила чашку, потом на цыпочках поднялась наверх и взяла одежду Робера. Он любил франтить, и я научилась гладить его вещи. Мне хотелось все ему приготовить и аккуратно сложить на стуле до того, как он проснется. Я принесла их в кухню, почистила и поставила разогреть утюг. Когда я положила на кухонный стол брюки, я увидела на одной штанине пятна.

«Да что ж это такое?» – воскликнула я. – Робер чем-то перепачкал брюки».

Мадам Берже так поспешно вскочила со стула, даже опрокинула картошку. Схватила брюки, глянула на них. И ее стала бить дрожь.

«Интересно, чем он их вымазал, – сказала я. – Робер будет вне себя. Его новый костюм».

Я видела, она огорчилась, но, знаете, французы в некоторых отношениях странные. Какое-нибудь пятно на платье для них событие, не то что для русских. Не знаю, сколько сотен франков Робер заплатил за этот костюм, но если костюм погублен, свекровь целую неделю не сможет спать, все будет думать о зря потраченных деньгах.

«Я отчищу», – сказала я.

«Отнеси Роберу кофе, – резко сказала она. – Уже двенадцатый час, пора ему встать. Брюки оставь мне. Я знаю, что с ними сделать».

Я налила ему чашку кофе и собралась идти наверх, но тут мы услышали, что он в тапочках сбегает по лестнице. Он кивнул матери и попросил газету.

«Выпей кофе, пока не остыл», – сказала я.

Он пропустил мои слова мимо ушей. Развернул газету и углубился в последние новости.

«Ничего нет», – сказала мать.

Я не поняла, о чем она. Робер пробежал взглядом по колонкам, потом не спеша отхлебнул кофе. Он был непривычно молчалив. Я взяла его пиджак и стала чистить щеткой.

«Ты вчера вечером сильно запачкал брюки, – сказала я– – Придется тебе сегодня надеть синий костюм».

Мадам Берже прежде повесила испачканные брюки на спинку стула. Теперь она их сняла и показала ему пятна. Он с минуту их разглядывал, а она молча за ним наблюдала. Казалось, он не может отвести от них глаз. Я не понимала их молчание. Странное оно было. Мне казалось, они отнеслись к этому пустяковому случаю до смешного трагически. Но, конечно, у французов бережливость в крови.

«Дома есть немного бензину,– сказала я.– Им можно вывести пятна. Или отдадим брюки в чистку».

Они не ответили. Робер сидел хмурый, не поднимая глаз. Мать перевернула брюки, наверно, хотела посмотреть, есть ли пятна сзади, а потом нащупала что-то в карманах.

«Что у тебя там?»

Робер вскочил.

«Не трогай. Нечего шарить по моим карманам».

Он попытался вырвать у нее брюки, но прежде она успела сунуть руку в задний карман и достала пачку банкнот. Увидев у нее деньги, Робер замер. Она уронила брюки на пол и со стоном прижала руку к груди, словно ее ударили ножом. Тут я заметила, что оба они бледные как смерть. Меня вдруг осенило, Робер часто мне говорил, что у матери наверняка есть кое-какие сбережения и она прячет их где-то в доме. Последнее время мы отчаянно нуждались. Роберу безумно хотелось поехать на Ривьеру; я там никогда не была, и он неделями твердил, что если б только ему раздобыть немного денег, мы бы туда поехали и наконец-то отпраздновали бы медовый месяц. Понимаете, когда мы поженились, он работал у того

маклера и не мог уехать. У меня мелькнула мысль, что он нашел сбережения матери. Я подумала, что он украл их, покраснела до корней волос и, однако, не удивилась. Не зря я прожила с ним полгода, я знала, что ему это покажется забавной проделкой. Я видела у нее в руках билеты по тысяче франков. Потом оказалось, их семь. Мать так на него посмотрела, что казалось, глаза у нее выскочат из орбит.

«Где ты их взял, Робер?» – спросила она.

Он ответил смешком, но я видела, он нервничает.

«Я вчера выиграл пари», – ответил он.

«Ох, Робер, – воскликнула я, – ты же обещал маме больше никогда не играть на бегах».

«Тут дело было верное, – сказал он. – Я не мог устоять. Теперь мы сможем поехать на Ривьеру, лапочка. Возьми деньги и сохрани, не то у меня они пролетят между пальцев».

«Нет-нет, не надо ей этих денег! – крикнула мадам Берже. И с таким ужасом посмотрела на Робера, я даже поразилась, потом она повернулась ко мне: – Поди прибери у вас в комнате. Не годится, чтоб комнаты весь день стояли неубранные».

Я поняла, что она не хочет говорить при мне, и подумала, что, если они сейчас станут ссориться, лучше мне и вправду уйти. У невестки положение щекотливое. Мать обожала Робера, но он был легкомысленный, и ее это страшно беспокоило. Время от времени она устраивала сиены. Иногда они запирались в ее флигельке в конце сада и яростно спорили, до меня доносились их голоса. Он выходил оттуда мрачный, раздраженный, а по ней было видно, что она плакала. Я пошла наверх. Потом вернулась, и они тотчас замолчали, и мадам Берже велела мне пойти купить яиц. Робер обычно уходил из дому около полудня и возвращался только вечером, обычно очень поздно, но в тот день он остался дома. Читал, играл на фортепьяно. Я спросила, что у него произошло с матерью, но он не стал рассказывать, сказал, что это не мое дело. Мне кажется, за весь день ни он ни она не обменялись и десятком слов. Я думала, этому не будет конца. Когда мы легли, я притулилась к Роберу, обняла его за шею, я ведь чувствовала, что он тревожится, и мне хотелось его утешить, но он меня оттолкнул.

«Бога ради оставь меня в покое, – сказал он. – Мне сегодня не до занятий любовью. У меня другие заботы».

Я была жестоко уязвлена, но ничего не сказала. Только отодвинулась от него. Он понял, что обидел меня, немного погодя протянул руку и чуть коснулся моего лица.

«Усни, лапочка,— сказал он.— Не огорчайся из-за моего дурного настроения. Слишком много я вчера выпил. Завтра я опять стану самим собой».

«Это деньги твоей матери?» – шепотом спросила я.

Он сперва не ответил. Потом наконец сказал: да.

«Ох, Робер, как ты мог?» – воскликнула я.

Он опять ответил не сразу. Мне так было худо. Думала, заплачу. Он сказал:

«Если кто-нибудь о чем-нибудь тебя спросит, ты у меня денег не видела. Ты понятия не имела, что у меня есть деньги».

«Как ты мог подумать, что я тебя предам?» – воскликнула я.

«И еще брюки. Мама не смогла их отчистить. Она их выбросила».

Я вдруг вспомнила, что днем, когда Робер играл на пианино, а я сидела с ним рядом, запахло горелым. Я встала, хотела пойти посмотреть, что там случилось.

«Не ходи»,— сказал Робер.

«Но в кухне что-то горит»,— сказала я.

«Наверно, мама жжет старое тряпье. Она сегодня встала с левой ноги, если ты вмешешься, она тебя отругает».

И тут я поняла, что не старые тряпки она жгла; она сжигала брюки, она их не выбросила. Я страшно перепугалась, но ничего не сказала. Робер взял меня за руку.

«Если тебя станут про них спрашивать,— сказал он,— говори, что я их перемазал, когда мыл машину, вот и пришлось их отдать. Позавчера мать отдала их какому-то бродяге. Клянешься?»

«Да»,— ответила я, насилу выговорила.

И тут он сказал ужасные слова:

«Может, от этого зависит моя жизнь».

Я до того перепугалась, так была ошеломлена, просто онемела от страха. И голова разболелась, прямо раскалывалась. Мне кажется, я всю ночь не сомкнула глаз. Робер то засыпал, то просыпался. И даже когда спал, беспокойно ворочался с боку на бок. Мы спустились рано, но моя свекровь была уже в кухне. Обычно она была одета очень прилично, а когда выходила из дому, выглядела даже элегантно. Она была вдовой доктора и дочерью штабного офицера; всегда помнила, кто она такая, и старалась, чтоб никто не понял, как жестоко она экономит ради того, чтобы достойно выглядеть, навещая старых армейских друзей. В этих случаях она подвивала волосы, делала маникюр, румянилась, бывало, никак не дашь ей больше сорока; а тут растрепанная, в халате, без румян она походила на

старую отставную сводню, живущую на свои сбережения. Она не поздоровалась с Робером. Без единого слова она протянула ему газету. Я смотрела, как он читает, и увидела, что он переменялся в лице. Он почувствовал на себе мой взгляд и улыбнулся.

«Ну что, малышка,— весело сказал он,— как насчет кофе? Ты что же, собираешься стоять так все утро, не сводя глаз со своего господина и повелителя, или накормишь его?»

Я поняла, в газете что-то есть, и я узнаю то, что непременно должна узнать. Робер позавтракал и пошел наверх одеваться. Когда он спустился, готовый выйти на улицу, я чуть не ахнула,— на нем был тот самый светло-серый костюм, в котором он ходил позавчера, те самые брюки. Но потом я, конечно, вспомнила, что, когда он заказывал костюм, брюк он заказал две пары. Об этом костюме было много разговоров. Мадам Берже ворчала, мол, слишком дорого, но он настоял на своем, сказал, если он не будет прилично одет, ему нечего и надеяться найти работу, и она наконец уступила, как всегда, только настояла, чтобы он заказал вторую пару брюк, брюки раньше обтрепываются, и экономнее заказать сразу две пары. Робер сказал, что к обеду не вернется, и вышел. Свекровь тоже скоро ушла за покупками, и едва я осталась одна, я схватила газету. И увидела, в своей квартире убит букмекер англичанин по имени Тедди Джордан. Его ударили ножом в спину. Робер часто о нем говорил, я слышала. Я поняла, что убил его Робер. У меня так заболело сердце, я думала, умру. Я была в ужасе. Не знаю, сколько времени я там сидела. Не могла шевельнуться. Наконец услышала — открывают ключом дверь, и поняла, что возвращается мадам Берже. Я положила газету на место и опять принялась хозяйничать.

Лидия тяжело перевела дух. Они приехали в ресторан не раньше часу, пожалуй, даже в начале второго, и кончили ужинать в два. Когда они входили, все столики были заняты и у стойки полно народу. Лидия рассказывала долго, а посетители мало-помалу расходились. Толпа у стойки редела. Теперь там сидели только двое, и кроме столика Чарли с Лидией был занят только еще один. Официанты нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

— По-моему, пора уходить,— сказал Чарли.— Они явно уже хотят от нас избавиться.

В эту минуту люди за соседним столиком встали, собираясь уходить. Женщина, которая принесла им с вешалки пальто, принесла и пальто Чарли и положила на соседний столик. Чарли спросил счет.

— Наверно, можно пойти куда-нибудь еще?

— Можно на Монмартр. У Граафа открыто всю ночь. Я ужасно устала.

– Что ж, если хотите, я отвезу вас домой.

– К Алексею и Евгении? Туда я сейчас не могу. Он наверняка пьян. Он будет всю ночь поносить Евгению за то, чем стали дети, мол, это она их такими воспитала, будет хныкать из-за своих горестей. В S rail мне не хочется. Лучше пойдете к Граафу. Там, по крайней мере, тепло.

Казалось, она так удручена и вправду так измучена, что Чарли, не без колебаний, предложил поступить иначе. Он вспомнил слова Саймона, что в эту гостиницу можно привести кого угодно.

– Послушайте, у меня в номере две кровати. Почему бы вам не пойти со мной?

Она бросила на него подозрительный взгляд, но он с улыбкой покачал головой.

– Просто чтоб выспаться,-прибавил он.– Понимаете, я сегодня с дороги, взволнован, то, другое, в общем, я совершенно выдохся.

– Ладно.

Они вышли на улицу, такси поблизости не оказалось, но до гостиницы было недалеко, и они отправились пешком. Сонный ночной привратник открыл им дверь и поднял их на лифте. Лидия сняла шляпу. У нее был высокий белый лоб. Ее волос он прежде не видел. Она оказалась светлой шатенкой, короткие волосы вились у шеи. Она скинула туфли, выскользнула из платья. Когда, облачившись в пижаму, Чарли вышел из ванной, Лидия уже не только лежала в постели, но спала. Чарли лег в свою постель и погасил свет. С тех пор как они вышли из ресторана, они не обменялись ни единым словом.

Так Чарли провел свой первый вечер в Париже.

Проснулся Чарли поздно. В первую минуту не мог сообразить, где он. Потом увидел Лидию. Они не задернули занавеси, и сквозь ставни пробивался серый свет. Комната, обставленная грязно-желтой мебелью, выглядела убого. Лидия лежала в двуспальной постели на спине, с открытыми глазами, уставясь в грязный потолок. Чарли глянул на часы. Он стеснялся этой чужой женщины в соседней кровати.

– Уже около двенадцати,– сказал он.– Давайте сразу выпьем по чашечке кофе, а потом, если хотите, я поведу вас куда-нибудь завтракать.

Она обратила на него серьезный, но и добрый взгляд.

– Я смотрела на вас спящего. Вы спали так мирно, так глубоко, точно дитя. У вас было такое невинное выражение лица, меня это сокрушило.

– Но я до неприличия небритый,– сказал Чарли.

Он по телефону заказал кофе, и его принесла дородная немолодая горничная; она бросила взгляд на Лидию, но на ее лице решительно ничего не выразилось. Чарли курил трубку, Лидия – сигарету за сигаретой. Они почти не разговаривали. Чарли не знал, как себя вести в этом своеобразном положении, а Лидия, казалось, погружена была в мысли, не имеющие к нему никакого касательства. Потом он прошел в ванную, чтобы помыться и побриться. Когда вернулся, Лидия в его халате сидела в кресле у окна. Окно выходило во двор, там только и видно было, что окна номеров напротив, этаж за этажом. В серое рождественское утро вид был на редкость безрадостный. Она обернулась к Чарли.

– А нельзя нам никуда не ходить, позавтракать здесь?

– То есть тут, внизу? Как вам угодно. Не знаю только, как здесь кормят.

– Это неважно. Нет, прямо здесь, в номере. Так славно на несколько часов отгородиться от всего света. Отдых, покой, тишина, одиночество. Похоже, такую роскошь могут себе позволить только очень богатые, а ведь это ничего не стоит. Странно, что так трудно этого достичь.

– Если хотите, я закажу вам завтрак в номер, а сам уйду.

Долгую минуту она смотрела на Чарли, глаза ее чуть насмешливо улыбались.

– Я ничего не имею против вас. Наверно, вы очень милый и славный. По мне лучше, чтоб вы остались. Какой-то вы уютный, с вами отдыхаешь душой.

Чарли был не из тех молодых людей, которые много мнят о себе, но

все-таки сейчас ему стало досадно; право, это уж слишком, она и за мужчину его не считает. Но он был поистине человек воспитанный и ничем не выдал свои чувства. К тому же положение, в котором он оказался, было достаточно необычно, и хотя не ради такого поворота событий ехал он в Париж, ничего не скажешь, получается прелюбопытно. Чарли оглядел комнату. Кровати не застелены; шляпа Лидии, жакет, юбка, туфли, чулки кое-как свалены на стуле.

– Тут ужасный беспорядок,– сказал Чарли.– По-вашему, в этом хаосе будет так уж приятно завтракать?

– Не все ли равно? – ответила Лидия и впервые за все время засмеялась.– Но если это оскорбляет ваше английское чувство приличия, я застелю постели, или, пока я буду мыться, это может сделать горничная.

Лидия прошла в ванную, а Чарли позвонил, чтобы принесли завтрак. Он заказал яйца, мясо, сыр, фрукты и бутылку вина. Потом вызвал горничную. Хотя комната отапливалась, тут был и камин, и Чарли подумал, если затопить камин, будет веселее. Пока горничная укладывала поленья, он оделся, а потом, когда она приводила комнату в порядок, он сидел и смотрел в окно на мрачный двор. И с тоской думал о том, как весело сейчас у Терри-Мейсонов. В этот час, перед тем, как сесть за праздничный обед, за индейку и рождественский пудинг, они выпьют по стаканчику хереса, и все будут радостные, довольные рождественскими подарками, шумные и веселые. Немного погодя вернулась Лидия. Она не накрашилась, но аккуратно причесалась, веки уже не были опухшими, и она была сейчас молоденькая и хорошенькая; но ее миловидность не вызывала плотских желаний, и Чарли, по природе восприимчивый к женским чарам, увидев Лидию, не взволновался.

– О, вы оделись,– сказала она.– Тогда я останусь в вашем халате, можно? Дайте мне ваши шлепанцы. Я в них потону, но это не важно.

Этот халат из синего расшитого шелка ему подарила на день рожденья мать; Лидии он был слишком длинен, но она так в нем задрапировалась, что выглядела вполне мило. Огонь в камине ее обрадовал, и она села в пододвинутое ей кресло. Закурила сигарету. Чарли странно было, что она принимает все происходящее так, будто это было в порядке вещей. Она держалась так непринужденно, словно знала его всю жизнь; если требовалось что-то еще, чтобы он начисто отказался от намерений, которые у него могли бы быть на ее счет, ничто не подействовало бы на него верней совершенно определенного впечатления, что Лидия отказалась от мысли, будто ему может прийти охота лечь с нею в постель. Его удивило, с каким аппетитом она ест. По ее рассказу накануне вечером ему представлялось,

что она слишком угнетена, ей не до еды, и при его романтично-чувствительной натуре он поразился, увидев, что она ест не меньше, чем он, и с явным удовольствием.

Они пили кофе, и тут зазвонил телефон. Звонил Саймон.

– Чарли? Как насчет того, чтобы прийти ко мне поболтать?

– Боюсь, сейчас не смогу.

– Это почему? – резко спросил Саймон.

Так на него похоже – воображать, что каждый готов по первому его зову бросить все свои дела. Как бы мало что-то для него ни значило, если ему этого захотелось, а ему перечат, каприз тотчас приобретал первостепенное значение.

– У меня Лидия.

– Какая такая Лидия?

Чарли на миг замялся.

– Ну, княжна Ольга.

Молчание, потом Саймон разразился недобрим хохотом.

– Поздравляю, дружище. Я знал, что вы придетесь друг другу по вкусу. Что ж, найдется свободная минутка для старого приятеля, звякни.

Он повесил трубку. Чарли опять повернулся к Лидии, она пристально смотрела в огонь. По бесстрастному лицу ее нельзя было понять, слышала ли она разговор. Чарли чуть отодвинул от себя столик, за которым они завтракали, и как мог удобнее расположился в неглубоком кресле. Лидия перегнулась, подложила в камин еще одно полено. Была в этом движении отнюдь не неприятная Чарли интимность. Потом она поворочалась, усаживаясь поуютнее, точно собачонка, что покрутится раза три на подушке вокруг своей оси и лишь тогда свернется калачиком в образовавшемся углублении. Почти до вечера они оставались в номере. Безрадостный свет зимнего дня постепенно истаявал, и они сидели при свете горящих поленьев. В комнатах напротив кое-где зажегся свет, и тускло светящиеся незанавешенные окна казались неестественными, точно на декорациях, изображающих вечернюю улицу. Но Чарли думалось, что положение, в котором очутился он сам, – сидит в убогой комнате перед пылающим камином и слушает душераздирающий рассказ незнакомой женщины о ее жизни, – пожалуй, еще неправдоподобней. Похоже, Лидии и в голову не пришло, что ему, быть может, вовсе не хочется ее слушать. Сколько он мог судить, она не задумалась ни о том, что он, возможно, совсем по-иному собирался провести время, ни о том, что, изливая перед ним душу, делясь своими страданиями, она возлагает на него бремя, которым никто не вправе отягощать чужого человека. Означало ли это, что

она ищет его сочувствия? Бог весть. Она ничего о нем не знает и не хочет знать. Она просто воспользовалась его добротой, и если бы не присущее ему чувство юмора, равнодушие Лидии его бы раздосадовало. Ближе к вечеру она замолчала, и по ее спокойному дыханию Чарли понял, что она уснула. Он встал, ощутив, как от долгой неподвижности заныли ноги; стараясь ее не разбудить, на цыпочках прошел к окну, сел на стул и посмотрел во двор. Время от времени за освещенными окнами кто-то появлялся и исчезал; вот пожилая женщина поливает комнатные цветы; вот мужчина лежит без пиджака на кровати и читает; интересно, что это за люди, кто они. Вероятно, обыкновенные люди среднего достатка, ведь гостиница дешевая и квартал не из лучших; но увиденные вот так, за окном, словно в кинетоскоп, они казались почти призрачными. Кто знает, каков человек на самом деле, какие недобрые страсти, какие преступления таятся за его заурядной внешностью? В иных комнатах занавеси задернуты, и лишь пробивающаяся между ними полоска света говорила, что там кто-то есть. Иные окна темные, но эти комнаты не пустуют, гостиница полным-полна, просто постояльцы ушли. По каким загадочным делам? Чарли, выбитому из колеи, вдруг стало страшно за всех этих незнакомых людей, чья жизнь конечно чужда и неведома; почудилось, будто спокойная видимость скрывает что-то смутное, темное, уродливое, внушающее страх.

Нахмутив брови, Чарли сосредоточенно размышлял о длинной горестной истории, которую слушал всю вторую половину дня. Лидия пересказывала с одного на другое – то рассказывала о своей борьбе за существование, когда работала у портнихи за жалкие гроши, то о каком-нибудь случае из своего нищего детства в Лондоне; потом новые подробности о мучительных днях после убийства, о том, как боялась ареста Робера, как страдала на суде. Чарли читал детективы, читал газеты, знал, что совершаются преступления, знал, что люди живут в нужде, но знал все это, так сказать, со стороны; и теперь странно и страшно ему было оттого, что жизнь столкнула его с человеком, который сам пережил все эти ужасы. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил картину Мане, на которой взвод солдат кого-то расстреливает... Максимилиана? Эта картина всегда производила на него сильное впечатление. Теперь его ошеломило сознание, что на картине изображено действительное событие. Император и вправду стоял на том месте, и когда солдаты направили на него ружья, ему, должно быть, казалось невероятным, что вот он живой, а через мгновение его не станет.

И теперь, после того как он познакомился с Лидией, как слушал ее прошлой ночью и сегодня днем, как ужинал с ней, и завтракал, и танцевал,

после того, как они столько часов провели под одной крышей в такой близости, с трудом верилось, что ей пришлось такое пережить.

Если что и могло показаться чистой случайностью, так это само знакомство Лидии и Робера Берже. Через друзей, у которых она жила и которые работали в русском ресторане, Лидии иногда перепал билет на концерт, а если таким образом билет получить не удавалось, а исполняли что-то, что ей очень хотелось послушать, она наскребала гроши из своего недельного жалованья и покупала билет на стоячее место. То была единственная роскошь, которую она себе позволяла, а концерт был ее единственным отдыхом. Любила она все больше русскую музыку. Слушая ее, чувствовала, что проникает в душу страны, которую никогда не видела, но по которой обречена была вечно тосковать. Она только и знала о России, что со слов отца и матери, из разговоров Евгении с Алексеем, когда они вспоминали прошлое, да из прочитанных книг. Именно когда она слушала музыку Римского-Корсакова и Глазунова, колоритные и надрывающие душу сочинения Стравинского, полученные ею впечатления обретали форму и содержание. Эти безудержные мелодии, эти спотыкающиеся ритмы, в которых было что-то столь чуждое Европе, уводили ее от самой себя от убогого существования, наполняли такой страстной любовью, что по щекам катились счастливые слезы облегчения. Но все, что представлялось, она воочию не видела, оттого все она получала из вторых рук или это было плодом ее лихорадочного воображения, а потому все виделось ей странно искаженным; Кремль с золотыми, в звездах, куполами, и Красная площадь, и Китай-город были для нее словно из сказки; чудилось, будто князь Андрей и очаровательная Наташа и сегодня ходят по хлопотливым московским улицам, Дмитрий Карамазов после безумной ночи у цыган встречает на Москворецком мосту милого Алешу, купец Рогожин проносится в санях с Настасьей Филипповной, и, точно опавшие листья под ветром, гонит по жизни покорных обстоятельствам грустных героев чеховских рассказов; Летний сад и Невский проспект – эти названия для нее по-прежнему звучали как магические заклинания; все едет в своей карете Анна Каренина, элегантный Вронский в новом мундире взбегаёт по лестнице в домах знати на Фонтанке, а незаконнорожденный Раскольников бредет по Литейному. В буре чувств и тоске, вызванными этой музыкой, в глубине ее сознания всплывает Тургенев, и она видит просторные обветшалые усадьбы, где среди благоуханья всю ночь напролет ведутся разговоры; в бледный рассветный час, в безветрии, когда ничто не шелохнется, стреляют на болоте диких уток; потом всплывает Горький – и ей видятся нищие деревни, где отчаянно пьют, и зверски любят, и убивают;

и стремится свои воды Волга, и высятся уступы Кавказа, и чарует ослепительный Крым. Исполненная тоски, исполненная сожаления о навсегда ушедшей жизни, истосковавшаяся по дому, которого у нее никогда не было, всем чужая во враждебном мире, Лидия в эти минуты ощущала себя неотделимой от этой огромной загадочной страны. Хотя она говорила по-русски запинаясь, она была русская и любила свою родную землю; в такие минуты она ощущала, что именно там ее корни, и понимала, почему отец, несмотря на предостережения, даже на грозящую смерть, не мог туда не вернуться.

Случилось так, что на одном из концертов, где исполнялась только русская музыка, Лидия стояла рядом с молодым человеком, который, как она заметила, порой с любопытством на нее посматривал. А в какую-то минуту она сама поглядела на него и поразилась, как страстно он, видимо, захвачен тем, что слушает; руки стиснуты, рот приоткрыт, словно ему не хватает дыхания. Им владел исступленный восторг. У него были приятные черты, и казалось, он человек воспитанный. Лидия лишь мельком глянула на него и опять вернулась к музыке и к пробужденным ею мечтам. Слушая музыку, она тоже позабыла обо всем на свете и едва ли заметила, что негромко всхлипнула. И вдруг с испугом почувствовала, что небольшая мягкая рука слегка пожала ей руку. Она мигом вырвала руку. Эта музыкальная пьеса оказалась последней перед антрактом, и когда она кончилась, молодой человек повернулся к Лидии. У него были чудесные серые глаза под густыми бровями и необыкновенно ласковые.

– Вы плачете, мадемуазель.

Лидии сперва подумалось, что, может быть, он русский, но выговор у него оказался истинно французский. Она поняла, что он пожал ей руку из безотчетного сочувствия, и была тронута.

– Не оттого, что несчастлива, – чуть улыбнувшись, отвечала она.

Он улыбнулся в ответ, улыбка была чарующая.

– Знаю. Эта русская музыка, она невероятно волнует и при этом надрыгает душу.

– Но ведь вы француз. Что она может для вас значить?

– Да, я француз. Не знаю, что она для меня значит. Но только эту музыку я и хочу слушать. В ней сила и страсть, кровь и гибель. У меня от нее каждый нерв трепещет. – Он посмеялся над собой. – Иной раз я ее слушаю и чувствую, все я могу сделать, что только в силах человеческих.

Лидия не отозвалась. Удивительно, какие разные чувства вызывает в разных людях одна и та же музыка. Музыка, которую они только что слушали, говорила ей о трагедии человеческой доли, о бесплодности

борьбы с судьбой, о радости и покое смирения и покорности.

– На следующей неделе вы идете на концерт? – спросил он потом. – Там тоже будет сплошь русская музыка.

– Вряд ли.

– Почему же?

Он был очень молод, должно быть, не старше ее, и простодушен, что не позволило Лидии ответить слишком холодно на вопрос, который нескромно было задавать незнакомому человеку. Что-то в его манере убеждало ее, что с его стороны это не попытка завязать знакомство. Она улыбнулась.

– Я не миллионерша. Среди русских они, знаете ли, сейчас редки.

– Я знаю кое-кого из тех, кто устраивает эти концерты. У меня контрамарка на двоих. Если вы пожелаете встретиться со мной у входа в следующее воскресенье, вы тоже сможете пройти.

– Боюсь, для меня это невозможно.

– Вам кажется, вас это скомпрометирует? – улыбнулся он. – Толпа вполне заменит дуэнью.

– Я работаю в швейной мастерской. Меня скомпрометировать трудно. Но я не могу себе позволить оказаться в долгу у совершенно незнакомого человека.

– Вы, конечно, очень хорошо воспитаны, мадемуазель, но к чему такие предрассудки.

Лидии не захотелось спорить.

– Хорошо, там видно будет. Во всяком случае, спасибо за предложение.

Они разговаривали о том о сем, пока дирижер снова не поднял палочку. По окончании концерта молодой человек повернулся к Лидии, чтобы попрощаться.

– Итак, до следующего воскресенья? – сказал он.

– Там видно будет. Не ждите меня.

Они потеряли друг друга в толпе, стремящейся к выходам. На неделе Лидия несколько раз вспоминала красивого молодого человека с большими серыми глазами. Вспоминала с удовольствием. Она дожила до своих лет не без того, чтобы порой противиться ухаживаньям мужчин. Оба – и Алексей и его сын, наемный танцор, пытались к ней приставать, но она без труда их отвадила.

Звонкая пощечина дала понять слезливому пьянице, что он тут ничего не добьется, а мальчишку она поставила на место разумным сочетанием насмешки и беспощадных слов. Довольно часто мужчины пытались заигрывать с ней на улице, но она всегда была слишком усталая и нередко

слишком голодная, так что их заигрывания ее не соблазняли; с невеселой усмешкой она думала, что, предложи они ей сытный обед, это соблазнило бы ее куда скорей, чем любящее сердце. Женское чутье подсказывало ей, что ее концертный знакомый на них непохож. Как всякий юнец, он, конечно, не упустит случая позабавиться с девчонкой, но не ради этого пригласил он ее на воскресный концерт. Идти она не собиралась, но ее тронуло, что он ее позвал. Что-то в нем было очень милое, что-то простодушное, искреннее. Она чувствовала, ему можно доверять. Она посмотрела на программу. Давали Патетическую симфонию, которую она не очень-то жаловала, на ее вкус Чайковский был слишком европеец, но в программе и «Весна священная», и Струнный квартет Бородина. Лидия сомневалась, можно ли принять за чистую монету слова этого молодого человека. Вполне возможно, что он пригласил ее под влиянием минуты, а спустя полчаса и думать про это забыл. Настало воскресенье, и она не прочь была пойти посмотреть; послушать концерт очень хотелось, а в кармане ни гроша сверх того, что необходимо на неделю на метро и обед – все остальное пришлось отдать Евгении, чтоб было чем кормить семью; если того молодого человека там не окажется, не беда, а если он там и у него вправду контрамарка на двоих, что ж, его это не введет в расход, и она не будет у него в долгу. В конце концов она поддалась внезапному порыву и оказалась у зала Плейель, и вот он стоит там, где сказал, и ждет ее. Глаза его радостно блеснули, и он горячо пожал ей руку, словно они были старыми друзьями.

– Я так рад, что вы пришли,-сказал он.– Я жду уже двадцать минут. Очень боялся вас пропустить.

Она покраснела и улыбнулась. Они вошли в зал, и оказалось, что билеты у него в пятый ряд.

– Это вам дали такие места? – удивилась Лидия.

– Нет, я их купил. Я подумал, что на удобных местах слушать музыку будет так славно.

– Вот безумие! Я вполне привыкла стоять.

Но его щедрость польстила Лидии, и когда он вскоре взял ее за руку, она руки не отняла. Ему, наверно, приятно держать ее руку, а ей от этого никакого вреда, и ведь она его должница. В антракте он сказал ей свое имя, Робер Берже, а она ему – свое. Он прибавил, что живет с матерью в Нейи и служит маклером в конторе. Разговаривал он как человек грамотный, с мальчишеским воодушевлением, которое смешило Лидию, и была в нем живость, которая хочешь не хочешь показалась привлекательной. Его сияющие глаза, поминутно меняющееся выражение лица выдавали пылку

натуру. Сидеть с ним рядом было все равно что сидеть у костра – его юность источала жар. После концерта они пошли вместе по Елисейским полям, а потом он спросил, не хочет ли она выпить чаю. Отказа он бы не принял. Лидии впервые выпала роскошь сидеть в шикарном кафе среди хорошо одетых людей; аппетитный запах пирожных, пьянящий аромат женских духов, тепло, удобные стулья, шумный разговор – все это ударило ей в голову. Они просидели там час. Лидия рассказала ему о себе, о том, кем был ее отец и что с ним случилось, как она теперь живет и чем зарабатывает на жизнь; он слушал так же заинтересованно, как говорил. Серые глаза лучились ласковым сочувствием. Когда ей пришло время уходить, он спросил, не пойдет ли она как-нибудь с ним в кино. Лидия покачала головой.

– Почему нет?

– Вы богатый молодой человек, а я...

– да нет, не богатый я. Ничего похожего. У моей матери совсем немного денег, сверх ее пенсии, а у меня только то небольшое, что я получаю в конторе.

– Тогда нечего распивать чаи в дорогих кафе. Так или иначе я бедная работница. Благодарю вас за всю вашу доброту, но я не дура. Вы были милы со мной, и я думаю, с моей стороны было бы нехорошо и дальше пользоваться вашей добротой, ведь мне нечем вам отплатить.

– Но мне ничего не нужно. Вы мне нравитесь. Мне нравится быть с вами. В то воскресенье, когда вы плакали, у вас такой был трогательный вид, у меня сердце разрывалось. Вы одиноки на свете, и я... я тоже по-своему одинок. Я надеялся, мы станем друзьями.

Лидия холодновато, оценивающе посмотрела на него. Они одних лет, но, по сути, она много старше; на его лице написано такое чистосердечие, она не сомневалась, он верит в то, что говорит, но ей хватало мудрости понять, что он болтает вздор.

– Позвольте быть с вами совершенно откровенной, – сказала она. – Я знаю, я не бог весть какая красавица, но все же я молода, и есть немало людей, которые находят меня хорошенькой, те, кому нравится русский тип; было бы слишком, если бы я поверила, что вы ищете моего общества только ради удовольствия беседовать со мной. Я еще не ложилась в постель с мужчиной. Думаю, было бы не очень честно с моей стороны позволить вам тратить на меня время и деньги при том, что ложиться с вами в постель я не собираюсь.

– Что и говорить, откровенно сказано, – улыбнулся он, да какой обаятельной улыбкой. – Но, видите ли, я это понимал. Не зря я всю жизнь

прожил в Париже, чему-то и научился. Я мигом чую, готова девушка поразвлечься или не готова. Я сразу понял, что вы девушка добропорядочная. На концерте я взял вас за руку только потому, что вы чувствовали музыку так же глубоко, как я, и прикосновение вашей руки... как бы лучше это объяснить... я ощущал, как ваше волнение передается мне и делает мое восприятие богаче, полней. Так или иначе в моем чувстве вовсе не было и намека на плотское желание.

– И однако, мы ощущали музыку очень по-разному – задумчиво сказала Лидия.– В какой-то миг я взглянула на ваше лицо и испугалась. Оно было безжалостное, свирепое. Будто вовсе и не человеческое лицо, но маска торжествующего зла. Мне стало страшно.

Он рассмеялся так весело, смех его был такой молодой, мелодичный, беспечный, взгляд такой мягкий и прямодушный, просто невозможно было поверить, что в какую-то минуту, пока он слушал ту волнующую музыку, лицо его выражало холодную жестокость.

– Ну и фантазия у вас! Уж. не думаете ли вы, что я работорговец, прямо как в кино, и хочу вас заграбастать, а потом переправить пароходом в Буэнос-Айрес?

– Нет,– улыбнулась Лидия,– не думаю.

– Что вам сделается, если вы сходите со мной в кино? Вы очень ясно дали мне понять, каково положение, и я его принимаю.

Теперь рассмеялась она. Это ж нелепо так волноваться из-за пустяка. Не было у нее почти никаких удовольствий в жизни, и если он хочет ее развлечь и ему довольно просто посидеть с ней и поговорить, глупо от этого отказываться. Она ведь, в сущности, никто и никому не обязана давать отчет. Она может сама о себе позаботиться, а его она предупредила всеми словами.

– Что ж, ладно,– сказала она.

Они несколько раз ходили в кино, и после картины Робер провожал Лидию до ближайшей остановки трамвая, идущего к ее дому. По дороге он брал ее под руку, а в кино какое-то время держал ее руку, раз-другой при расставании легко целовал ее в обе щеки, но никаких других вольностей себе не позволял. Его общество было приятно Лидии. Он разговаривал шутливо, иронично, и Лидии это доставляло удовольствие. Он не делал вид, будто очень много читал, не было у него на это времени, сказал он, притом жизнь куда занятнее книг, но он был неглуп и о тех книгах, которые прочел, говорил умно. Лидия с интересом узнала, что он особенно восхищается Андре Жидом. Он увлеченно играл в теннис и говорил ей, что одно время ему советовали заняться теннисом всерьез; вершители судеб в

теннисе полагали, что у него задатки чемпиона, и заинтересовались им. Но ничего из этого не вышло.

– Чтобы на этом поприще добиться успеха, мне не доставало ни времени, ни денег,– сказал он.

Лидии казалось, что он влюблен в нее, но уверенности она себе не позволяла, боялась, что собственные чувства мешают ей беспристрастно судить. Он все больше и больше занимал ее мысли. Впервые у нее появился друг ее лет. Ему она была обязана счастливыми часами на концертах, куда он водил ее по воскресеньям днем, и счастливыми вечерами в кино. Благодаря ему в ее жизни появился интерес, радостное волнение, чего никогда прежде не было. Ради него она всячески старалась принарядиться. Она не имела обыкновения пользоваться косметикой, но, собираясь на четвертую или пятую встречу с ним, слегка нарумянилась и чуть подвела глаза.

– Что это вы с собой сделали? – спросил он, когда они оказались на свету.– Зачем накрались?

Лидия засмеялась и от смущения густо покраснела.

– Мне хотелось бы, чтоб вы могли мной гордиться. Неприятно, если люди подумают, будто с вами судомоечка, которая только что приехала в Париж из родной провинции.

– Но чуть ли не первое, что мне в вас понравилось, это ваша естественность. Мне надоели размалеванные физиономии. Не знаю почему, но меня тронуло, что на ваших бледных щеках, на губах, на бровях нет никакой краски. Это освежает, будто рожица, в которую попал после слепящего жара дороги. Без косметики от вас веет чистосердечием, и чувствуешь, что это и есть истинное выражение вашей честной натуры.

У Лидии заколотилось сердце, чуть ли не до боли, но то была та удивительная боль, что блаженней наслажденья.

– Что ж, если вам не нравится, я больше не стану краситься. В общем-то я накрасилась только ради вас.

Лидия рассеянно смотрела фильм, на который он ее привел. Все это время она не доверяла нежности в его мелодичном голосе, улыбчивой ласке взгляда, но после таких слов невозможно не поверить, что он ее любит. Она призвала на помощь все свое самообладание, чтобы удержаться и не влюбиться в него. Она продолжала твердить себе, что с его стороны это лишь мимолетный каприз, и было бы безумием дать волю своим чувствам. Она решила ни в коем случае не становиться его любовницей. Слишком много она видела подобных историй среди русских, дочерей эмигрантов, которым с таким трудом хоть как-то удавалось заработать на жизнь;

нередко от скуки или намаявшись из-за отчаянной бедности, они вступали в связь, но всегда она оказывалась недолгой; похоже, они неспособны удержать мужчину, по крайней мере француза, в кого они обычно влюблялись; они наскучивали своему любовнику или начинали его раздражать, и он их бросал; тогда они оказывались уж вовсе в бедственном положении, и часто им только и оставалось, что идти в публичный дом. Но на что еще могла она надеяться? Она прекрасно понимала, о женитьбе Робер не помышляет. У него и мысли такой не было.

Она знала, как смотрят на брак францужены. Его мать нипочем не согласится, чтоб он женился на русской портнихе, а она только портниха и есть, да к тому же без гроша за душой. Во Франции к браку относятся серьезно; жених и невеста должны быть людьми одного круга, и у невесты должно быть приданое, соответствующее положению жениха. Правда, ее отец был не вовсе безвестный профессор в университете, но это было в России, до революции, а с тех пор Париж наводнили князья, и графы, и гвардейцы – и либо стали таксистами, либо занялись физическим трудом. В русских все видели людей ленивых и ненадежных. Всем они надоели. Мать Лидии, чей отец был крепостной, и сама недалеко ушла от крестьянки, и профессор женился на ней, следуя своим либеральным воззрениям; но она была благочестива и воспитала дочь в строгих правилах. Напрасно Лидия пыталась себя переубедить – да, мир стал другим, и надо меняться вместе с ним, – но она ничего не могла с собой поделаться: стать любовницей – от этой мысли она поневоле приходила в ужас. И все же. Все же. На что еще ей рассчитывать? Не глупо ли упускать такой случай? Ведь ее миловидность всего лишь миловидность юности, и уже через несколько лет она подурнеет и станет невзрачной; вполне вероятно, что другая возможность ей уже не представится. Почему не дать себе волю? Стоит только чуть изменить привычной сдержанности, и она бы безумно в него влюбилась; какое было бы облегчение не держать в узде свои чувства, и ведь он ее любит, да, конечно, любит, от пламени его страсти у нее перехватывает дыхание, в его пылком взгляде, в живом лице – неистовое желание обладать ею; как чудесно быть любимой тем, кого любишь до безумия, и если бы он ее разлюбил, а он наверняка разлюбит, ей бы остался исступленный восторг, остались бы воспоминания, и разве они не стоят боли, мучительной боли, которую она испытает, когда он ее покинет? А когда все будет сказано, все кончено, если боль окажется нестерпимой, к ее услугам всегда будет Сена или газовая плита.

Но самое удивительное, непостижимое, что он вовсе не хотел, чтобы она стала его любовницей. Он обходился с ней с величайшим уважением.

Вел себя так, словно она девушка из круга знакомых его семьи, чье положение в обществе и состояние позволяют предположить, что их дружба кончится браком, желательным для обеих сторон. Лидия не могла этого понять. Как ни нелепо было так думать, но тайное чутье подсказывало ей, что Робер хотел бы на ней жениться. Она была тронута и польщена. Если она права, он такой один на тысячу, но она почти надеялась, что ошибается, было бы невыносимо, если б ему пришлось падать, а при таком желании это неизбежно; какие бы сумасбродные планы он ни строил, у него есть мать, рассудительная, практичная француженка, которая ни за что не позволит ему ставить под угрозу его будущее и которой он предан, как может быть предан матери только француз.

Но однажды вечером, после кино, когда они шли к станции метро, Робер сказал:

– В следующее воскресенье концерта нет. Не придете ли вы к нам на чай? Я столько рассказывал о вас матери, она хотела бы с вами познакомиться.

Сердце у Лидии замерло. Она тут же поняла, что означает это приглашение. Мадам Берже встревожена странной дружбой сына и хочет ее видеть, чтобы положить конец этой дружбе.

– Бедный мой Робер, я думаю, я вовсе не понравлюсь вашей матери. По-моему, нам с ней лучше не встречаться.

– Вы сильно ошибаетесь. Мама вам очень симпатизирует. Понимаете, она, бедняжка, любит меня, кроме меня у нее никого нет в целом свете, и она рада, что я подружился с воспитанной и достойной молоденькой девушкой.

Лидия улыбнулась. Как плохо он знает женщин, он воображает, будто любящая мать может питать добрые чувства к девушке, с которой ее сын случайно познакомился на концерте! Но он настойчиво уговаривал ее принять приглашение, которое, по его словам, исходило от матери, и она в конце концов согласилась. Подумалось, если она откажется прийти, это лишь усилит недоверие к ней мадам Берже. Они условились, что Робер встретит ее в воскресенье в четыре у ворот Сен-Дени. Он приехал на автомобиле.

– Какая роскошь! – сказала Лидия, садясь в машину.

– Видите ли, автомобиль не мой. Я взял его у приятеля.

Лидия нервничала из-за предстоящего ей испытания, и даже ласковое дружелюбие Робера не могло придать ей уверенности.

Они поехали в Нейи.

– Автомобиль оставим здесь, – сказал Робер, остановившись у тротуара

на тихой улочке.— Не хочу ставить его у нашего дома. Соседям незачем думать, будто у меня есть свой автомобиль, не объяснять же им, что я взял его у приятеля.

Они немного прошли пешком.

— Вот мы и дома.

Стоящий поодаль от других давно не крашенный домик оказался непригляднее, чем Лидии представлялось по рассказам Робера. Он ввел ее в гостиную. Комната была загромождена мебелью, везде безделушки, на стенах картины, написанные маслом, в золоченых рамах, и через арку вход в столовую, где накрыт стол. Мадам Берже отложила роман, который читала, и подошла поздороваться с гостьей. Лидия представляла ее довольно полной, невысокой, в трауре, как положено вдове, с кротким лицом, скромной, почтенной женщиной, по которой сразу видно, что она отрешилась от суетных желаний; она же оказалась совсем другой: худенькая и на высоких каблуках, ростом с Робера; элегантно черное в цветах шелковое платье, на шее нитка поддельного жемчуга; она темная шатенка, волосы подвиты, и хотя ей под пятьдесят, ни одного седого волоса. Бледное лицо сильно напудрено. Красивые глаза. Такой же, как у Робера, изящный, прямой нос, те же тонкие губы, только годы придали им некоторую суровость. Для своих лет и на свой лад она хороша собой и явно очень заботится о своей наружности, но нет в ней того обаяния, что так привлекает в Робере. В ее глазах, таких ярких и темных, холодность и настороженность. Лидия ощутила, каким острым испытующим взглядом окинула ее с ног до головы мадам Берже, когда она вошла, но тотчас настороженность сменилась радушной, приветливой улыбкой. Она рассыпалась в благодарностях за то, что Лидия проделала такой длинный путь ради того, чтобы повидаться с ней.

— Вы, разумеется, понимаете, как мне хотелось увидеть девушку, о которой сын столько мне рассказывал. Я была готова к неприятному сюрпризу. Сказать по правде, я не очень доверяю суждениям сына. И для меня истинное облегчение увидеть, что вы и вправду так милы, как он говорил.

Все это говорилось весьма оживленно, с улыбками, кивками, с желанием польстить, так говорит обычно хозяйка, привыкшая к приемам, стараясь, чтобы гостя почувствовала себя непринужденно. Лидия, тоже настороженная, отвечала с красящей ее застенчивостью. Мадам Берже выразительно, чуть принужденно засмеялась и даже всплеснула руками.

— Но вы очаровательны. Не удивительно, что мой сын забросил из-за вас старую мать.

Чай внесла девица с тупым лицом, и, продолжая жестикулировать и осыпать гостью любезностями, мадам Берже следила за служанкой тревожным взглядом; Лидия поняла, что здесь не привыкли приглашать гостей на чай и хозяйка не уверена в умении служанки подать на стол как полагается. Они пошли в столовую и сели за стол. Тут же стоял кабинетный рояль.

– Рояль занимает место, – сказала мадам Берже, – но мой сын страстно увлечен музыкой. Бывает, он часами сидит за роялем. Он говорит, вы превосходная музыкантша.

– Он преувеличивает. Я очень люблю музыку, но совсем несведуща в ней.

– Вы слишком скромны, мадемуазель.

На столе стояли печенья из кондитерской и пирожные. Под каждой тарелочкой был узорчатый кружок, а на ней небольшая салфетка. Мадам Берже явно постаралась соблюсти все правила хорошего тона. С улыбкой в холодных глазах она спросила Лидию, с чем та предпочитает чай.

– Вы, русские, всегда пьете чай с лимоном, и я нарочно для вас поставила лимон. Может быть, начнете с пирожного?

Чай отдавал соломой.

– Я знаю, русские всегда курят за едой. Пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Робер, где сигареты?

Мадам Берже усиленно угощала Лидию пирожными, печеньем; она оказалась из тех хозяек, для которых гостеприимство заключается в том, чтобы даже вопреки желанию гостя непременно его накормить. Болтала она без умолку, а голос у нее был резкий, пронзительный, с лица ее не сходила улыбка, и любезности ее не было предела. Она задавала Лидии множество вопросов, как бы случайных, будто светская дама из сочувствия вежливо расспрашивает одинокую девушку, но Лидия понимала, они хорошо продуманы, чтобы узнать о ней все, что только возможно. Сердце у Лидии упало: не такая это женщина, чтобы из любви к сыну позволить ему поступить безрассудно; но эта мысль вернула ей уверенность в себе. Ведь ясно же, ей нечего терять; и скрывать нечего; и на вопросы мадам Берже Лидия отвечала с полной откровенностью. Рассказала ей, как уже рассказывала Роберу, о своих родителях, и как она жила в Лондоне, и как жила после смерти матери. За горячим сочувствием мадам Берже, за ее потрясенно-сострадательными репликами Лидии даже забавно было подмечать проницательность, с какой она взвешивает каждое услышанное слово и делает свои заключения. После двух или трех безуспешных попыток уйти, о чем мадам Берже и слышать не хотела, Лидия наконец

ухитрилась вырваться из этой чересчур дружелюбной атмосферы. Робер собрался ее проводить. Когда она просталась с мадам Берже, та схватила ее за руки, и ее красивые темные глаза лучились нежностью.

– Вы прелесть,– сказала она.– Дорогу вы теперь знаете. Приходите ко мне, приходите почаще. Вы всегда будете желанной гостьей.

Когда они шли к автомобилю, Робер ласково взял Лидию под руку, и было похоже, он хочет не защитить ее, а скорее найти у нее защиту, и этот жест совсем ее покорила.

– Ну, дорогая, все прошло хорошо. Матери вы понравились. Вы ее сразу очаровали. Она вас будет обожать.

Лидия засмеялась.

– Какие глупости. Она меня возненавидела.

– Нет, нет, вы ошибаетесь. Вот увидите. Я ее знаю, я сразу увидел, что вы пришли ей по душе.

Лидия пожала плечами и ничего не сказала. Расставаясь, они условились пойти во вторник в кино. Лидия согласилась, хотя почти не сомневалась, что мать постарается положить конец их знакомству. Теперь Робер знал ее адрес.

– Если что-нибудь вам помешает, вы мне пошлите petit bleu (записку по пневматической почте – фр.)

– Ничто не может мне помешать,– нежно возразил Робер.

Грустно ей было в этот вечер. Окажись она в одиночестве, она бы непременно поплакала. Но, наверно, и лучше, что не было у нее такой возможности; нечего расстраиваться. Напрасно она размечталась. Она справится со своим разочарованием, в конце концов не впервой. Было бы куда хуже, если б он стал ее любовником, а потом ее бросил.

Прошел понедельник. Наступил вторник, но petit bleu не пришла. Ничего, уж наверняка она найдет ее, когда вернется с работы. Нет, опять ничего. Остается еще час, когда можно не думать, что пора собираться, и Лидия провела его в мучительном, тревожном ожидании звонка у двери; она одевалась, а сама чувствовала, что глупо это, ведь почтальон придет еще раньше, чем она будет готова. Неужели Робер заставит ее прийти в кино, а сам не явится? Это было бы бессердечно, жестоко, но ведь он под каблуком у матери, и, пожалуй, слабый он, и, должно быть, ему кажется, что, если она придет на свидание, а он ее не встретит, как это ни грубо, это лучше всего, ведь тогда ей станет совершенно ясно, что он с ней порвал. Не успела у нее мелькнуть эта мысль, как Лидия уже не сомневалась, что так оно и есть, и уже почти решила не ходить. И однако, пошла. В сущности, если он способен на такую низость, это лишь докажет, что она легко от

него отделилась.

Но нет, он ее ждал и, увидев, что она идет, нетерпеливо, с живостью пошел ей навстречу своим пружинистым шагом. Лицо его озаряла всегдашняя милая улыбка. Настроение у него было, кажется, еще лучше обычного.

– Мне сегодня не хочется в кино, – сказал он. – Зайдем к Фуке выпьем, а потом покатаемся. Автомобиль здесь, за углом.

– Как хотите.

Вечер был чудесный, сухой, хотя и холодный, и звезды в морозной выси будто добродушно потешались над слишком яркими огнями Елисейских полей. Лидия с Робером выпили пива, он все говорил, говорил без умолку, потом прошли на авеню Георга Пятого, где он оставил автомобиль. Лидия была озадачена. Разговаривал Робер вполне естественно, но, может быть, он умеет так хорошо притворяться, и невольно спрашивала себя, не для того ли он предложил покататься, чтобы сразить ее горькой вестью. Она уже знала, что порой он вдруг возбуждается, даже слегка актерствует, но ее это скорее забавляло, чем обижало, возможно, он хочет получше обставить трогательную сцену отказа от нее.

– Это не тот автомобиль, что был у вас в воскресенье, – сказала Лидия, когда они подошли к машине.

– Да. Это моего приятеля, он хочет его продать. Я обещал подыскать покупателя.

Они поехали к Триумфальной арке, потом по авеню Фош до Буа. Было темно, кроме мгновений, когда светили фары встречного автомобиля, и пустынно, кроме редких машин, что стояли у обочин, и там, по-видимому, парочки вели любовный разговор. Скоро Робер тоже остановился у тротуара.

– Давайте посидим и выкурим по сигаретке, – предложил он. – Вам не холодно?

– Нет.

Тут было безлюдно, и при других обстоятельствах Лидии стало бы не по себе. Но ей казалось, она достаточно знает Робера, он не злоупотребит ее доверием. Он ведь такой славный. Больше того, чутье подсказывало ей, он что-то задумал, и ей не терпелось узнать, что же это. Он поднес ей огонь, закурил сам и сидел молча. Видно было, что он смущен и не знает, как начать. У нее тревожно заколотилось сердце.

– Милая, я хочу вам кое-что сказать, – наконец заговорил он.

– Да?

– Ну даже не знаю, как начать. Я редко нервничаю, просто удивительно, совсем я к этому не привык.

Сердце у Лидии упало, но она не желала показать, что страдает.

– Если что-то трудно сказать, по-моему, лучше сказать прямо,– беспечно отозвалась она.– Что толку ходить вокруг да около.

– Ловлю вас на слове. Будьте моей женой.

– Я?

Лидия ждала чего угодно, только не этого.

– Я безумно тебя люблю. Мне кажется, я влюбился с первого взгляда, когда мы стояли рядом на концерте и у тебя текли по щекам слезы.

– А как же твоя мать?

– Мама в восторге. Она нас ждет. Я сказал, что, если ты согласишься, я тебя привезу. Она хочет тебя обнять. Она рада, что я выбрал девушку, которая не вызывает у нее никаких возражений, и план у нас такой: все вместе поплачем, а потом разопьем бутылку шампанского.

– В прошлое воскресенье, когда ты меня пригласил познакомиться с матерью, ты ей сказал, что хочешь на мне жениться?

– Ну конечно. Мама отнюдь не глупая, она сразу все решила.

– Мне казалось, я ей не понравилась.

– Ты ошиблась.

Они улыбались друг другу, Лидия подняла к нему лицо. Впервые он поцеловал ее в губы.

– А ведь при правостороннем движении куда удобнее целовать девушку, чем при левостороннем.

– Глупый,– засмеялась Лидия.

– Значит, я тебе все-таки не безразличен?

– Я с первой минуты тебя обожаю.

– Но была сдержанна, как и полагается хорошо воспитанной особе, она не дает воли своим чувствам, пока не уверится, что это не противоречит благоразумию?– ласково поддразнил Робер.

Но Лидия ответила серьезно:

– За свою недолгую жизнь я так настрадалась, я не хотела новых страданий, которые, может быть, не перенесу.

– Я без ума от тебя.

Никогда еще Лидия не была так счастлива; право же, ей с трудом в это верилось; благодарность к жизни переполняла ее сердце. Она была бы рада так и остаться здесь, в его объятиях, навеки; в такую минуту и смерть не страшна. И все-таки она заставила себя оторваться от него.

– Едем к твоей маме,– сказала она.

Ее вдруг охватила нежность к этой женщине, ведь та едва ее знает и, однако, против ожиданий, понимая, что ее сын полюбил ее, Лидию, и пронизательным взглядом увидев что и Лидия его всерьез любит, согласилась, даже радостью, на их брак. Лидии казалось, во всей Франции не найдется другой женщины, способной на такую жертву. Они поехали. Робер оставил автомобиль на улице, параллельно той, где жил. А когда подошли к дому, открыл дверь своим ключом и, порывисто опередив Лидию, поспешил в гостиную.

– Все хорошо, мама.

Лидия вошла тотчас следом, и мадам Берже, в том же черном в цветах шелковом платье, что и в воскресенье, шагнула ей навстречу и обняла.

– Милое мое дитя, – воскликнула она. – Я так счастлива!

Лидия расплакалась. Мадам Берже нежно ее целовала.

– Ну, ну, успокойтесь! Не надо плакать. Я от всей души отдаю вам сына. Я знаю, вы будете ему хорошей женой. Идите сюда, садитесь. Робер откроет бутылку шампанского.

Лидия овладела собой и утерла глаза.

– Вы слишком добры ко мне, мадам. Не знаю, чем я заслужила такое сердечное расположение.

Мадам Берже взяла ее за руку и ласково погладила.

– Вы полюбили моего сына, а он – вас.

Робер вышел из комнаты. Лидия чувствовала, что должна сказать его матери все как есть.

– Но, боюсь, вы не знаете моих обстоятельств, мадам. Те небольшие деньги, что отец смог вывезти из России, давным-давно кончились. У меня нет ничего, кроме моего заработка. Ничего, совсем ничего. И кроме вот этого платья, еще только два.

– Но, милое мое дитя, какое это имеет значение? Не скрою, я была бы рада, если бы вы принесли Роберу и недурное приданое, но деньги еще не все. Любовь важнее. А в наше время чего вообще стоят деньги? Лыщу себя надеждой, что умею разбираться в людях, и я сразу поняла, что у вас милая и честная натура. Я увидела, что вы хорошо воспитаны и несомненно человек твердых правил. А это и требуется от жены, и, знаете, мой Робер никогда не был бы счастлив с девушкой из среды мелких французских буржуа. Он романтик, и ему по душе, что вы русская. И ведь не кто-нибудь, а дочь профессора, это что-то да значит.

Вошел Робер с бокалами и с бутылкой шампанского. За разговором засиделись допоздна. У мадам Берже все уже было продумано, и им оставалось только согласиться; Лидия с Робером будут жить в доме, а она

уютно устроится во флигельке в глубине сада. Есть они будут вместе, а остальное время она будет проводить у себя. Молодых надо предоставить самим себе и не навязывать им свое общество, решила она.

– Я не хочу, чтобы вы считали меня свекровью,– сказала она Лидии.– Я хочу быть вам матерью, ведь родной матери вы лишились, но хочу стать и вашим другом.

Ей очень хотелось, чтобы свадьба состоялась как можно скорее. У Лидии был паспорт, выданный Лигой наций, и Carte de S jour (вид на жительство – фр.), все бумаги в порядке, так что надо только подать заявление в мэрию и выждать положенный срок. Так как Робер был католик, а Лидия православная, они, к огорчению мадам Берже, отказались от церковного бракосочетания, оба не придавали этому значения. В ту ночь Лидии не спалось, слишком она была взволнована и растеряна.

Свадьбу сыграли более чем скромно. Присутствовали только мадам Берже и старый друг их семьи полковник Легран, военный врач, который служил вместе с отцом Робера, да еще Евгения с Алексеем и их детьми. Происходило это в пятницу, а так как в понедельник утром Роберу предстояло идти на службу, их медовый месяц был совсем короткий. На автомобиле, который Роберу дали в займы, он повез Лидию в Дьепп, а в воскресенье вечером привез ее назад.

Лидия не знала, что, как и прежние автомобили, тот, в котором он ее вез, был не взят в займы, а украден, вот почему Робер всегда оставлял их не у дома, а на какой-нибудь ближайшей улице; не знала, что несколько месяцев назад его приговорили к двум годам тюрьмы, но условно, поскольку это было его первое преступление; не знала, что затем его привлекали к судебной ответственности по обвинению в контрабанде наркотиков, и он чудом избежал обвинительного приговора; не знала, что мадам Берже так радовалась их браку в надежде, что теперь Робер остепенится, да это и вправду было для него единственной возможностью зажить жизнью честного человека.

Чарли понятия не имел, сколько времени он просидел так у окна, рассеянно глядя в темный двор, пока в его смятенные, сумбурные мысли не ворвался голос Лидии.

– Я, кажется, спала,— сказала она.

– Еще как спали.

Чарли зажег свет, чего не делал прежде, боясь ее разбудить. В камине огонь догорал, и он положил еще одно полено.

– Я так хорошо отдохнула. Спала безо всяких снов.

– Вам снятся дурные сны?

– Ужасные.

– Если вы оденетесь, можно пойти пообедать.

Лидия глянула на него с чуть насмешливой, но и доброй улыбкой.

– Вы, наверно, совсем не так привыкли проводить Рождество.

– Признаться, вы правы,— ответил он, весело усмехнувшись.

Она ушла в ванную, и Чарли услышал, как она купалась. Вернулась она по-прежнему в его халате.

– Теперь, если вы пойдете мыться, я оденусь.

Чарли оставил ее в комнате. Ему казалось вполне естественным, что, хоть она и проспала всю ночь в соседней постели, ей неловко при нем переодеваться.

Лидия повела его в знакомый ей ресторан на авеню дю Мэн, где, по ее словам, хорошо кормили. Хотя чуть застенчиво старомодный, ресторанчик оказался очень славный – стены обшиты панелями, на окнах ситцевые занавески, кушанья подают на оловянных тарелках, – в нем было почти безлюдно: только две женщины средних лет в высоких воротничках и галстуках да трое молодых индийцев, которые ели в хмуром молчании. Казалось, все они одиноки, у них нет друзей, и они обедают здесь в этот вечер, оттого что им некуда пойти.

Лидия и Чарли сели в уголке, где никто не услышит их разговор. Лидия ела с большим аппетитом. Когда Чарли предложил ей добавки одного из заказанных блюд, она с готовностью протянула тарелку.

– Свекровь всегда жаловалась, что у меня слишком хороший аппетит. Она, бывало, говорила, что я так ем, будто никогда не наедалась досыта. Да ведь так оно и было.

Ее слова потрясли Чарли. Странное чувство – обедаешь с человеком,

который из года в год недоедал. И еще: оказывается, можно пройти через всевозможные несчастья и все-таки есть с отличным аппетитом. Это поколебало его прежние представления и вносило в ее трагедию что-то балаганное; Лидия – фигура отнюдь не романтическая, она самая обыкновенная молодая женщина, и почему-то все случившееся с ней казалось от этого еще ужасней.

– А с вашей свекровью вы ладили? – спросил Чарли.

– Да, более или менее. Она была неплохая женщина. Просто суховатая, расчетливая, практичная и скупая. Хорошая хозяйка, любила идеальный порядок в доме. Моя русская неряшливость ее возмущала, но она умела держать себя в руках и ни разу мне резкого слова не сказала. После Робера главной ее страстью была респектабельность. Она гордилась, что ее отец был штабной офицер, а муж – полковник медицинской службы. Оба они были кавалерами ордена Почетного легиона. Муж во время войны лишился ноги. Она очень гордилась их безупречной репутацией и весьма высоко ставила то положение в обществе, которое занимала благодаря им. Вы, наверно, скажете, она сноб, но в таких пустяках, что это не обижает, а только смешит. Ее представления о морали иностранец счел бы удивительными во француженке. Например, она не прощала женщин, которые изменяют мужьям, но ей казалось вполне естественным, что мужчины обманывают жен. Она нипочем не примет приглашения, если не может пригласить этих людей к себе. Если она о чем-то условилась, то уж непременно сдержит слово, даже если это окажется для нее невыгодно. Она считала каждый грош, но была безупречно честна, честна и из принципа и из уважения к своей семье. Ей было присуще глубокое чувство справедливости. Она понимала, что поступила со мной непорядочно, когда согласилась на наш с Робером брак, ведь я ничего про него не знала, и не следовало оставлять меня в неведении, тогда я хотя бы могла не вслепую решать, выходить за него или нет; я, конечно, ни минуты бы не колебалась, но она-то этого не знала и, когда мне все стало известно, считала, что у меня есть все основания ее винить, а оправдаться она могла бы лишь тем, что ради Робера готова была кого угодно принести в жертву; вот почему она заставляла себя терпеть многое, что ей не нравилось во мне. Со всей решительностью, со всем своим самообладанием и тактом она старалась, чтобы наш брак был удачным. Она чувствовала, только счастливый брак и может исправить Робера, и так велика была ее любовь к сыну, что она готова была отдать его мне. Даже готова была утратить свое влияние на него, а этим женщина, по-моему, дорожит даже больше, чем любовью к ней, независимо от того, идет ли речь о сыне, о муже, о любовнике или о

ком-то еще. Она сказала, что не станет вмешиваться в нашу жизнь, и не вмешивалась. Мы почти и не видели ее, только в кухне, когда какое-то время спустя отказались от служанки, да за столом. Все время, когда она бывала дома, она проводила во флигельке в глубине сада, а если нам казалось, что ей одиноко, и мы звали ее посидеть с нами, она отказывалась под каким-нибудь предлогом: то у нее работа, то надо написать письма, то хочется дочитать книжку. Ее трудно было любить, но невозможно не уважать.

– Что с ней теперь? – спросил Чарли.

– Суд над сыном ее разорил. Большая часть ее скромных сбережений пошла на то, чтобы уберечь Робера от тюрьмы, а остальное – на адвокатов. Ей пришлось продать дом на который опиралась гордость офицерской вдовы, и заложить свою пенсию. Она всегда прекрасно стряпала, вот и пошла служанкой за все к одному американцу, у которого студия в Отейле.

– Вы с ней когда-нибудь видите?

– Нет. Чего ради? У нас с ней нет ничего общего. Раз я не смогла удержать Робера на пути праведном, я ей стала ни к чему.

Лидия продолжала рассказывать Чарли о своем замужестве. Ей приятно было обрести дом, а какое блаженство не ходить каждое утро на работу. Она скоро увидела, что на всякие транжирства денег нет, но по сравнению с тем, к чему она привыкла, они жили богато. И во всяком случае, у нее появилась уверенность в завтрашнем дне. Робер был нежен, жить с ним было легко, ему нравилось, когда она ему прислуживала, но она так его любила, что и прислуживать было радостью. Ее смешил его веселый, дерзкий, бесшабашный цинизм, и жизнь была в нем ключом. При их довольно скудных средствах он был чрезмерно, щедр. Подарил ей золотые ручные часы и сумочку для косметики, которые уж наверно стоили не одну тысячу франков, и сумку крокодиловой кожи. Лидия с удивлением обнаружила в одном из ее отделений трамвайный билет, и когда спросила Робера, как он туда попал, тот в ответ засмеялся. Сказал, что купил сумку у девушки, которая проигралась на бегах. Девушка только что получила ее в подарок от любовника и продавала так дешево, что он просто не мог ее не купить. Иногда Робер водил Лидию в кино, а потом они шли на Монмартр танцевать. Ей хотелось знать, откуда у него деньги на такое мотовство, и Робер весело отвечал, что мир полон дураков и умному человеку нелепо было бы порой этим не воспользоваться. Но свои походы они скрывали от мадам Берже. Лидии казалось, что невозможно любить Робера больше, когда она выходила за него замуж, но с каждым днем чувство ее крепло. Он был не только чудесный любовник, но и восхитительный восхитительный

спутник жизни.

Месяца через четыре после женитьбы Робер лишился работы. Дома это вызвало бурю, Лидии непонятную, ведь жалованье Робер получал мизерное; но он надолго заперся с матерью во флигеле, и когда Лидия потом увидела свекровь, стало ясно, что та плакала. Лицо у нее было измученное, и она так мрачно и зло глянула на Лидию, будто винила ее. Лидия не могла взять этого в толк. Потом пришел старый доктор, друг семьи полковник Легран, и они втроем опять заперлись у мадам Берже. Дня три Робер был молчалив и впервые за все время их знакомства даже раздражен; на вопрос Лидии, что с ним происходит, резко ответил, чтобы не приставала. Потом, должно быть, подумав, что надо все-таки что-то ей объяснить, сказал, что сыр-бор разгорелся из-за материной скупости. Лидия знала, что, хотя свекровь не бросает деньги на ветер, она никогда не экономит на сыне, ничего для него не жалеет; но Робер был сильно на взводе, и она предпочла промолчать. Дня три мадам Берже была вне себя от тревоги, но потом, что бы там ни было причиной, тревога улеглась; правда, она уволила служанку, а держать служанку было для нее делом принципа, ведь, пока у тебя есть прислуга, можно смотреть на себя как на истинную даму. Но теперь мадам Берже сказала Лидии, что это пустая трата денег, они вдвоем вполне справятся с таким скромным хозяйством, а покупая сама провизию, она будет уверена, что ее не обкрадывают; и ведь дел у нее особых нет, и она с удовольствием станет стряпать. Ну а Лидия охотно взяла на себя уборку дома.

И жизнь потекла почти совсем как прежде. К Роберу скоро вернулось хорошее настроение, и он опять стал веселым, любящим и очаровательным. Он вставал поздно и отправлялся на поиски работы и часто возвращался только поздним вечером. У мадам Берже всегда было припасено для него что-нибудь повкуснее, но без него трапеза двух женщин бывала скудной: чашка некрепкого бульона, салат и немного сыру. Все это время мадам Берже явно была встревожена. Не раз, заходя в кухню, Лидия заставала ее стоящей без дела, на лице смятение, словно ею владела нестерпимая тревога, но стоило Лидии войти, выражение ее менялось и она принималась за прерванную работу. Она по-прежнему следила за собой и в «приемные дни» своих старых друзей одевалась во все лучшее, слегка румянила щеки и, высоко подняв голову – воплощенная респектабельность среднего сословия, – отправлялась с визитом. Хотя Робер был все еще без работы, денег на карманные расходы у него вскоре стало не меньше, чем прежде. Он сказал Лидии, что сумел в качестве посредника продать два-три одержанных автомобиля; а еще завязал знакомства на скачках, ему

подсказали, на какую лошадь ставить, и он кое-что выиграл. Сама не зная почему, Лидия невольно заподозрила, что тут не все чисто. Был даже случай, когда она по-настоящему встревожилась. Однажды в воскресенье Робер сказал матери, что человек, который, как он надеется, возьмет его на службу, пригласил его с Лидией на обед у себя дома, неподалеку от Шартра, и он повезет ее туда на автомобиле; но когда они сели в автомобиль, что стоял за две улицы от их дома, и поехали, Робер сказал, что все это выдумка. В прошлый четверг ему повезло на скачках, и они едут обедать к Жуй. А матери он солгал, не то она сочла бы, что тратить деньги на ресторан непростительное транжирство. День был великолепный, теплый. Обед подавали в саду, и народу было полным-полно. Они отыскивали два места за столиком, где уже сидели четыре человека. Вся эта компания отобедала и ушла, когда Робер и Лидия едва добрались до середины трапезы.

– Ой, смотри, – сказал Робер, – одна дама забыла свою сумочку.

Он взял сумочку и, к удивлению Лидии, открыл. Она увидела там деньги. Робер кинул быстрый взгляд налево, направо, быстро, хитро и недобро глянул на жену. У Лидии упало сердце. Сейчас он вынет деньги и сунет в карман. От ужаса перехватило дыхание. И в этот миг вернулся один из сидевших за столиком мужчин и увидел сумочку в руках Робера.

– Что вы делаете с этой сумкой? – спросил он.

Робер улыбнулся своей открытой обаятельной улыбкой.

– Ее забыли. Хотел посмотреть, не узнаю ли, чья она.

Мужчина посмотрел на него сурово, подозрительно.

– Надо было просто отдать ее хозяину ресторана.

– И вы думаете, вам бы ее вернули? – учтиво ответил Робер, возвращая сумочку.

Тот молча ее взял и пошел прочь.

– Женщины преступно беспечно обращаются со своими сумочками, – сказал Робер.

У Лидии вырвался вздох облегчения. Какое нелепое подозренье. Вокруг люди, ну у кого бы хватило наглости украсть деньги из забытой сумки, слишком велик был риск. Но она знала все выражения лица Робера, и как это ни невероятно, не сомневалась, что он намерен был взять деньги. И счел бы это преотличной шуткой.

Она решительно вычеркнула из памяти этот случай. Но он вспомнился ей в то страшное утро, когда она прочла в газете, что убит англичанин – букмекер Тедди Джордан. В памяти всплыл тогдашний взгляд Робера. В страшный миг озарения она поняла, он способен на все. Теперь она поняла,

что за пятна оказались на его брюках. Кровь! И поняла, откуда брались тысячи франков. Поняла также, почему так мрачен был Робер, когда лишился работы, почему была в таком отчаянии его мать и почему мать и сын заперлись с полковником Леграном и долгие часы там шел взволнованный разговор. Потому что Робер украл деньги. И мадам Берже уволила служанку и с тех пор во всем себе отказывала и откладывала каждый грош, чтобы выплатить непосильную для нее сумму и уберечь сына от тюрьмы.

Лидия перечитала сообщение об убийстве. Тедди Джордан жил один в квартире на первом этаже, убирала у него консьержка. Ел он не дома, но каждое утро в девять консьержка приносила ему кофе. Так она его и обнаружила. Увидела его на полу, без пиджака, в спине ножевая рана, лежал он у патефона, на разбитой пластинке, похоже, нож всадили, когда он менял пластинку. На полке над камином – пустой бумажник. Рядом с креслом, на столике, недопитый стакан виски с содовой и второй стакан, непочатый, на подносе, там же бутылка виски, сифон для сельтерской воды и ненарезанный кекс. Он явно ждал гостя, но гость не захотел выпить. Смерть наступила за несколько часов до прихода консьержки. Репортер, очевидно, сам провел небольшое расследование, но сколько в этом отчете было правды, а сколько выдумки, сказать трудно. Он расспросил консьержку и узнал, что, насколько ей известно, женщины у покойника не бывали, лишь несколько мужчин, больше все молодые, из чего она сделала свои выводы. Тедди Джордан был хороший жилец, не доставлял никаких хлопот, а когда бывал при деньгах, не скупился. Нож всадили в спину с огромной силой, и, по словам репортера, полиция убеждена, что убийца, должно быть, человек очень крепкий. В комнате никаких следов беспорядка, значит, нападение было внезапным и Джордан не мог защищаться. Ножа не нашли, но, судя по пятнам на гардинах, нож о них вытерли. Далее репортер сообщал, что, хотя полиция все тщательно осмотрела, отпечатков пальцев не обнаружено; а значит, убийца либо их стер, либо был в перчатках. В первом случае можно говорить о величайшем хладнокровии, во втором – о преднамеренности.

Потом репортер отправился в бар Жожо. Это был небольшой бар на глухой улице за бульваром Мадлен, который облюбовали жокеи, букмекеры и те, кто играл на скачках. Здесь подавали простую пищу – яичницу с беконом, сосиски, отбивные котлеты, тут-то обычно и ел Джордан. Здесь по большей части и заключал сделки. Репортер узнал, что здешние завсегда и считали его славным малым. Бывали у него хорошие времена, бывали и плохие, но в удачные дни он денег не жалел. Всегда был готов любому

поставить выпивку, все у него были приятели. И однако, знали, с ним надо держать ухо востро. Случалось, у него бывали полосы невезения, и тогда счет его рос и рос, но в конце концов он расплачивался. Репортер поделился с Жожо, владельцем бара, подозрениями консьержки, но тот его заверил, что нет для этого никаких оснований. Красочный газетный отчет закончен был словами, что полиция усердно ведет расследование и надеется на протяжении суток арестовать убийцу.

Лидия была в ужасе. Она ни минуты не сомневалась, что преступление совершил Робер; так была в этом уверена, будто все произошло у нее на глазах.

– Как он мог? Как он мог?– воскликнула она.

И тут же испугалась собственного голоса. Пусть даже в кухне никого и нет, нельзя высказывать вслух свои мысли. Надо непременно спасти Робера от грозящей ему опасности, это была ее первая, ее единственная мысль. Что он ни натворил, она его любит; пускай бы он сделал что угодно, она все равно любила бы его не меньше. Она вдруг представила, что его могут у нее отнять, и чуть не закричала от боли. Даже в такую минуту ее пьянило воспоминание о его нежных губах, она ощущала его стройное, все еще мальчишеское тело в своих объятиях. Было сказано, что нож всадили с огромной силой, и полиция ищет крупного, могучего человека. Робер крепкий, жилистый, но не крупный и не могучий. А потом, еще эти подозрения консьержки. Полиция будет рыскать по ночным клубам и кафе на Монмартре и на улице де Лапп, где постоянно бывают гомосексуалисты. Робер никогда не ходил в подобные заведения, и уж она-то лучше всех знала, как он далек от противоестественных наклонностей. Правда, он частенько захаживал в бар Жожо, но туда многие ходили; там он получал нужные ему сведения от жокеев и заключал пари с букмекерами повыгодней, чем в тотализаторе. Это было вполне законно. Нет никаких причин, чтобы подозрение пало на него. Улики уничтожены, и кому придет в голову, что мадам Берже, при ее бережливости, уговорила Робера заказать вторую пару таких же брюк? Если полиция узнает, что Робер был знаком с Джорданом (а Джордан был знаком со множеством народу), и произведет в доме обыск (это маловероятно, но, возможно, станут допрашивать всех, с кем, как известно, букмекер поддерживал приятельские отношения), ничего они не найдут. Кроме той небольшой пачки билетов по тысяче франков. При мысли об этих деньгах Лидию охватила паника. Проще простого узнать, что их семья находится в стесненных обстоятельствах. Робер и она всегда считали, что где-то во флигеле у матери припрятаны кое-какие деньжата, но когда Робер лишился работы, им наверняка пришел конец;

если на него падет подозрение, полиция неизбежно узнает, что его уволили со службы; как же тогда объяснить, что у матери сохранилось несколько тысяч франков? Лидия не знала, сколько билетов в той пачке. Наверно, восемь или десять. Для бедняков сумма изрядная. Даже зная, как Робер ее добыл, мадам Берже никогда не отважится с ней расстаться. Решит, что у нее хватит хитрости запрятать деньги в такое место, куда никому и в голову не придет заглянуть. Лидия понимала, разговаривать с ней бесполезно. Никакие доводы на нее не подействуют. Только одно и остается: найти их и сжечь. До тех пор не будет у нее ни минуты покоя. А уж когда она это сделает, пускай полиция приходит, никаких улик не найдут. В безумной тревоге гадала она, куда бы могла спрятать деньги мадам Берже. Во флигеле Лидия бывала редко, мадам Берже сама прибирала у себя, но Лидии отчетливо запомнилось, где там что, и теперь мысленно она старательно обшаривала каждую вещь, каждое местечко, которые могут служить тайником. При первом же удобном случае Лидия решила отправиться туда на поиски.

Случай представился раньше, чем она могла предвидеть. В тот же самый день, после скудного обеда, за которым обе женщины не проронили ни слова, Лидия сидела в гостиной и шила. Читать она была не в силах, а что-то надо было делать, чтобы успокоить снедающую ее ужасную тревогу. Она услышала, как в дом вошла мадам Берже, и решила, что та, наверно, идет в кухню, но свекровь заглянула в гостиную.

– Если вернется Робер, скажи ему, что я буду в начале шестого.

С изумлением Лидия увидела, что свекровь нарядилась во все самое лучшее. На ней было черное в цветах шелковое платье, черный атласный ток, а вокруг шеи черно-бурая лиса.

– Вы идете в гости?– воскликнула Лидия.

– Да, сегодня у генеральши последний приемный день. Если я не покажусь, она оскорбится. И она и генерал были очень расположены к моему бедному мужу.

Лидия поняла. В предвидении того, что может случиться мадам Берже решила, что уж в этот-то день она должна вести себя как ни в чем не бывало. Пренебречь светскими обязанностями – значило бы выказать страх, что ее сын замешан в убийстве букмекера. А вот исполнить долг приличия – значит доказать, что такая возможность ей и в голову не приходила. Мадам Берже была женщиной неукротимого мужества. Рядом с ней Лидия чувствовала себя слабой, истинно по-женски беспомощной.

Как только свекровь ушла, Лидия заперла парадную дверь так, чтоб без звонка никто не мог войти, и поспешила в глубину садика. Она окинула

его беглым взглядом: неухоженный газон, заросший тощей травкой, сбоку вьется песчаная дорожка, а посредине клумба, и на ней высажены хризантемы, что расцветут осенью. Свекровь, конечно, прятала деньги скорее не здесь, а у себя в жилище. Весь-то флигель – одна довольно просторная комната да смежный с ней чулан, который мадам Берже превратила в гардеробную. Обстановку комнаты составляют резной спальный гарнитур красного дерева, диван, кресло и письменный столик. На стенах увеличенные фотографии хозяйки и ее покойного мужа, фотография его могилы, под ней – его медали и орден Почетного легиона, а еще немало фотографий Робера, начиная с детских лет. Лидия задумалась, где такая женщина, как мадам Берже, станет что-нибудь прятать. Несомненно у нее есть какой-то тайничок, ведь ей годами приходилось скрывать деньги от Робера. Слишком она сообразительна, чтобы пользоваться обычными для таких случаев местами – кроватью, потайным ящичком в письменном столе, углублениями у боковин кресла или у спинки дивана. Камина в комнате нет, но есть газовая плита с железной трубой. Лидия глянула в ту сторону. Нет, там ничего не прячешь; к тому же зимой плиту зажигают, а свекровь из тех, кто, раз присмотрев тайничок, его и станет держать. Лидия растерянно озиралась. Ничего другого ей не приходило голову, и она раскрыла постель, вынула подушку из наволочки. Внимательно осмотрела, ощупала. Матрац был покрыт очень плотной материей, мадам Берже уж наверно было бы не под силу распороть и снова зашить один из швов. Раз она пользуется тайником долгое время, он должен быть легко доступен, чтобы можно было быстро достать деньги и сразу же все привести в порядок. Для проформы Лидия пересмотрела ящички комода и письменного стола. Ни один ящик не заперт, и все в них аккуратно уложено. Заглянула в платяной шкаф. И все время мысль лихорадочно работала. Лидия наслушалась всяких рассказов про то, как русские прятали свое добро, деньги и драгоценности, чтобы уберечь их от большевиков. Рассказывали, как не помогала и самая невероятная изобретательность и, напротив, как чудом ничего не находили. Ей вспомнилось, как одну женщину обыскивали в поезде между Ленинградом и Москвой. Ее раздели донага, но бриллиантовое ожерелье упрятано было в шов мехового манто, и хотя его старательно осмотрели, бриллиантов не нашли. У мадам Берже тоже было меховое манто, старое каракулевое, купленное давным-давно, оно висело в шкафу. Лидия его достала, старательно осмотрела и прощупала, но тщетно. Никаких следов недавнего шва. Лидия повесила шубу на место и одно за другим вынула три-четыре платья, небогатый гардероб мадам Берже. Нет, ни в одно из них

невозможно было зашить пачку банкнот. Сердце у Лидии упало. Она испугалась, что свекровь слишком хорошо спрятала деньги, ей их не найти. И вдруг ее осенило. Говорят, лучший тайник – самое заметное место, где никто не подумает искать. Например, в рабочей корзинке, вроде той, что стоит у мадам Берже на столике подле кресла. Лидия глянула на часы, время шло, нельзя здесь слишком задерживаться; приуныв, она стала рыться в корзинке. Вот чулок, который штопает мадам Берже, ножницы, иголки, всякие обрезки, катушки бумажных и шелковых ниток. А вот наполовину связанный черный шерстяной шарф, мадам Берже вязала его, чтобы накидывать на плечи, когда идет из флигеля в дом. Среди катушек и белых и черных ниток Лидия с удивлением увидела одну с желтыми. Интересно, зачем они свекрови? А потом она случайно глянула на гардины, и сердце у нее екнуло. Свет в комнату проникал только через стеклянную дверь, и одна пара гардин висела на этой двери, а другой завешена была дверь в гардеробную. Мадам Берже очень гордилась этими гардинами, они принадлежали ее отцу, полковнику, и она помнила их с детства. Роскошные, тяжелые, с ламбрекеном, отделанным бахромой и фестонами, были они из желтой камчатной ткани. Лидия сперва подошла к тем, что висели на стеклянной двери, отвернула подпушку. Они предназначались для более высокой комнаты, но у мадам Берже не хватило мужества их обрезать, и она внизу их подогнула. Лидия тщательно просмотрела шов; строчила профессиональная портниха, и нитка уже выцвела. Потом она посмотрела на гардины по обе стороны двери в гардеробную. И у нее вырвался глубокий вздох. В углу, у стены фасада, а значит, в самом темном, кусочек дюйма в четыре зашит был свежей ниткой, стало быть, недавно. Лидия взяла из корзинки ножницы и быстро подпорол шов; сунула пуку в отверстие и вытащила банкноты. Спрятала деньги за пазуху, и ей потребовалось всего несколько минут, чтобы взять иголку, желтую нитку и все снова зашить. Теперь никто не догадался бы, что в этом месте шов сделан заново. Она осмотрела комнату – не осталось ли здесь следов ее пребывания. Вернулась в дом, поднялась в ванную, разорвала деньги на мелкие кусочки, кинула в унитаз и спустила воду. Потом сошла вниз, отодвинула засов на парадной двери и снова села за шитье... Сердце у нее готово было выскочить из груди, но насколько же легче стало на душе. Пускай теперь приходит полиция, ничего они не найдут.

Вскоре вернулась мадам Берже. Вошла в гостиную и опустилась на диван. Усилие, которое она над собой сделала, измотало ее, и она совсем выдохлась. Она осунулась и сейчас казалась старухой. Лидия глянула на нее, но ничего не сказала. Через несколько минут мадам Берже с усталым

вздохом поднялась и пошла к себе. Она сняла свой элегантный наряд и вернулась в войлочных шлепанцах и поношенном черном платье. Несмотря на завитые волосы, помаду и румяна, она была сейчас похожа на старую поденщицу.

– Я займусь обедом,– сказала она.

– Помочь вам? – спросила Лидия.

– Нет, я предпочитаю побыть одна.

Лидия продолжала шить. В домике стояла зловещая тишина. Такая она была напряженная, что, когда недолго спустя Робер стал открывать замок своим ключом, звук этот показался Лидии грозным шумом. Она стиснула руки, чтобы не расплакаться. Войдя в дом, Робер, по обыкновению, негромко свистнул, и Лидия, овладев собой, вышла в коридор. В руках у него было несколько газет.

–Я принес тебе вечерние газеты,– весело крикнул он. – Они полны этим убийством.

Он прошел в кухню, где, он знал, найдет мать, и кинул газеты на стол. Лидия прошла за ним. Без единого слова Берже взяла одну газету и стала читать. Заголовки набраны крупно. Этой новости отвели первые полосы.

– Я заходил в бар Жожо. Там только и разговору, что об этом убийстве. Джордан был постоянным клиентом бара, его там все знают. Я и сам с ним разговаривал в вечер убийства. У него был неплохой день на скачках, и он всем ставил выпивку.

Робер болтал так непринужденно, естественно, будто ничто на свете его не тревожило. Глаза его блестели, а всегда довольно бледные щеки слегка разругались. Он был возбужден, но не выказывал ни малейшего волнения. Стараясь, чтобы и ее голос звучал так же беззаботно, как его, Лидия спросила:

– Они уже кого-то подозревают в убийстве?

– Думают, это матрос. Консьержка сказала, что она неделю назад видела, как Джордан возвратился домой с каким-то матросом. Но, конечно, кто-то мог просто вырядиться матросом. Полиция устраивает облавы на всех посетителей сомнительных баров на Монмартре. Судя по виду кожи вокруг раны, ударили, похоже, с огромной силой. Ищут рослого человека могучего сложения. Известны, конечно, два-три боксера, о которых идет дурная слава.

Мадам Берже, ни слова не сказав, отложила газету.

– Обед будет готов через несколько минут,– сказала она.-Лидия, ты скатерть постелила?

– Пойду постелю.

В дни, когда Робер бывал дома, обедали и ужинали в столовой, хотя это и хлопотней. Но мадам Берже сказала:

– Нельзя жить как дикари. Робер получил хорошее воспитание и привык, чтобы все делалось, как положено.

Робер пошел наверх переменить пиджак и надеть шлепанцы. Мадам Берже не позволяла ему носить дома выходной костюм. Лидия стала накрывать на стол. И вдруг содрогнулась от ужаса, пораженная неожиданной мыслью, и ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть. Ведь две ночи назад, как раз когда был убит Тедди Джордан, Робер разбудил ее среди ночи, попросил накормить его ужином и поспешил лечь с ней в постель. Он кинулся к ней в объятия сразу после того, как совершил это чудовищное преступление; и источником его страсти, его ненасытного желания, его безумных ласк была пролитая им кровь. «А если я той ночью зачала?»

Вниз по лестнице прошлепал Робер.

– Я готов, ма,– крикнул он.

– Иду.

Он вошел в столовую и сел на свое обычное место. Вынул салфетку из кольца, разложил и взял ломоть хлеба с тарелки, на которую Лидия его положила.

– Ну как, наша старушка сегодня хорошо нас покормит? Я нагулял отличный аппетит. У Жожо я в обед только и съел, что сандвич.

Мадам Берже внесла супницу, села во главе стола и разлила всем троим бульон. Робер был превосходно настроен. Он весело болтал. Но женщины едва отвечали. С первым покончили.

– Что дальше? – спросил Робер.

– Мясная запеканка с картофелем.

– Не самое мое любимое блюдо.

– Скажи спасибо, что у тебя есть хоть какая-то еда,– резко отозвалась мать.

Робер пожал плечами и весело подмигнул Лидии. Мадам Берже пошла в кухню за запеканкой.

– Похоже, наша старушка не в настроении. Чем она сегодня занималась?

– Сегодня у генеральши последний приемный день сезона. Она туда ходила.

– Эта старая зануда кого хочешь выведет из себя.

Мадам Берже внесла запеканку и разложила по тарелкам. Робер выпил вина с водой. Как всегда иронично и довольно забавно он продолжал болтать о том о сем, но в конце концов вынужден был заметить, как

неразговорчивы женщины.

– Да что с вами нынче? – сердито прервал он себя.– Сидите надутые, будто двое немых на похоронах.

Мать все время ела через силу, уставясь в тарелку, но теперь подняла глаза и молча, в упор посмотрела на сына.

– Ну, что еще? – дерзко воскликнул он.

Она не ответила, но все смотрела на него. Лидия глянула на свекровь. В ее темных, выразительных, как у Робера, глазах она прочла упрек, страх, гнев, но и горе, безмерное горе, видеть это было нестерпимо. Робер не выдержал силы этого страдальческого взгляда и опустил глаза. Обед закончили в молчании. Робер закурил и дал сигарету Лидии. Она пошла в кухню и принесла кофе. Выпили его в молчании.

В дверь позвонили. Мадам Берже вскрикнула. Все трое не шевельнулись, словно парализованные. Еще звонок.

– Кто это? – прошептала мадам Берже.

Пойду посмотрю,– сказал Робер. Потом прибавил, посуровев: –Возьми себя в руки, мать. Не из-за чего тебе расстраиваться.

Он пошел к парадной двери. Послышались незнакомые голоса, но Робер закрыл за собой дверь гостиной, и нельзя было разобрать, о чем там разговор. Через минуту-другую он вернулся. За ним следовали двое мужчин.

– Вы обе пройдите, пожалуйста, в кухню,– сказал Робер. – Эти господа хотят со мной побеседовать.

– Что им нужно?

– Как раз это они и собираются мне сказать,– спокойно ответил Робер.

Женщины встали и вышли. Лидия украдкой глянула на мужа. Казалось, он ничуть не волнуется. Нельзя было не догадаться, что эти незваные гости – сыщики. Мадам Берже оставила дверь кухни открытой, надеялась услышать какой пойдет разговор, но через коридор и из-за закрытой двери слов было не разобрать. Чуть не час длилась беседа, потом дверь отворили.

– Лидия, поди принеси мне пиджак и ботинки,– крикнул Робер.– Эти господа хотят, чтоб я пошел с ними.

Он сказал это беспечно, весело, словно по-прежнему был в себе уверен, но у Лидии упало сердце. Она пошла вверх за его вещами. Мадам Берже не произнесла ни слова. Робер переменял пиджак, переобулся.

– Я вернусь через час-другой,– сказал он.– Но вы ложитесь, не ждите меня.

– Куда ты?– спросила мать.

– Они хотят, чтоб я прошел в комиссариат. Полицейский комиссар думает, я могу пролить кое-какой свет на убийство бедняги Тедди Джордана.

– Какое это имеет отношение к тебе?

– Просто я, как и многие другие, его знал.

Робер ушел с двумя сыщиками.

– Собери-ка со стола и помоги мне вымыть посуду,– сказала мадам Берже.

Они все вымыли и убрали. Потом сели по обе стороны кухонного стола и принялись ждать. Не разговаривали. Избегали смотреть друг другу в глаза. Бесконечно долго они так сидели. Зловещую тишину нарушал лишь бой часов-кукушки в коридоре. Когда пробило три, мадам Берже поднялась.

– Сегодня он не вернется. Давай ляжем.

– Я не усну. Лучше посижу здесь.

– Что толку? Только зря жечь электричество. У тебя ведь найдется какое-нибудь снотворное? Возьми парочку таблеток.

Лидия со вздохом поднялась. Мадам Берже хмуро на нее посмотрела и сердито выпалила:

– Нечего вешать нос, будто настал конец света. Нет у тебя причин киснуть. Ничего такого Робер не сделал, ему ничто не грозит. Уж и не знаю, что ты подозреваешь.

Лидия не ответила, но во взгляде, которым она посмотрела на мадам Берже, такая была боль, что та опустила глаза.

– Иди ложись, иди ложись! – сердито крикнула она.

Лидия вышла, поднялась в спальню. Всю ночь не смыкала она глаз, ждала Робера, но он не вернулся. Когда утром она сошла вниз, оказалось, мадам Берже уже выходила купить газеты. Убийство Джордана все еще занимало первые полосы, но сообщений об аресте там не было; полицейский комиссар продолжал расследование. Едва выпив кофе, мадам Берже ушла из дому. И вернулась уже только в одиннадцать. При виде мрачного лица свекрови у Лидии упало сердце.

– Ну что?

– Ничего не хотят говорить. Я связалась с адвокатом, и он пошел в полицию.

Они заканчивали свой жалкий обед, и тут в дверь позвонили. Лидия открыла, на пороге стоял полковник Легран и с ним человек, которого она видела впервые. За ними оказались еще двое мужчин – она сразу узнала в них тех полицейских, что приходили накануне вечером,– и женщина с суровым лицом. Полковник Легран спросил, нельзя ли видеть мадам

Берже. Она в тревоге уже подошла к дверям кухни, и, увидев ее, человек, что пришел с полковником, протиснулся мимо Лидии.

– Это вы мадам Леонтин Берже?

– Я.

– Я Лукас, полицейский комиссар. У меня ордер на обыск вашего дома.– Он протянул бумажку.– Ваш сын, Робер Берже, уполномочил полковника Леграна представлять его интересы во время обыска.

– Почему вам понадобился обыск в моем доме?

– Надеюсь, вы не станете препятствовать мне исполнить мой долг?

Она бросила на комиссара гневный, презрительный взгляд.

– Раз у вас есть ордер, я не вправе вам препятствовать.

Комиссар в сопровождении полковника и обоих сыщиков поднялся по лестнице, а их спутница осталась в кухне с мадам Берже и Лидией. Наверху были две комнаты, одна, довольно большая, служила спальней Роберу с женой, другая поменьше, там он спал холостяком. Еще там была ванная с газовой колонкой. Незваные гости провели там чуть не два часа, и когда комиссар сошел вниз, он держал в руках сумочку Лидии.

– Откуда она у вас? – спросил он.

– Муж подарил.

– Откуда она у него?

– Он купил у женщины, которая осталась без денег.

Комиссар испытующе на нее посмотрел. Заметил часы : на руке, показал на них и спросил:

– Это тоже подарок мужа?

– Да.

Больше он ничего не сказал. Положил сумочку и присоединился к остальным, прошедшим в сдвоенную комнату, часть которой служила столовой, а часть – гостиной. Но через минуту-другую хлопнула входная дверь. Лидия выглянула из окна и увидела, что один из полицейских направился к воротам, сел в стоящий у обочины автомобиль и уехал. С внезапным дурным предчувствием она посмотрела на красивую сумочку. Вскоре, чтобы произвести обыск в кухне, Лидию и мадам Берже пригласили перейти в гостиную. Там все было вверх дном. Обыск явно был тщательным. Снятые гардины валялись на полу. Взгляд мадам Берже упал на них, она вздрогнула, хотела было что-то сказать, однако заставила себя промолчать. Но когда немного погодя, выйдя из кухни, мужчины прошли через садик к флигелю, она не удержалась, подошла к окну, посмотрела им вслед. Лидия заметила, что она дрожит, и испугалась, вдруг оставшаяся с ними женщина тоже это заметит. Но та лениво листала газету

автолюбителя. Лидия подошла к окну, взяла свекровь за руку. Но не решилась шепнуть, что опасности нет. Когда мадам Берже увидела, как во флигеле содрали с окна желтые камчатные гардины, она судорожно стиснула руку Лидии. И Лидия только могла попытаться ответным пожатием показать, что бояться нечего. Мужчины пробыли во флигеле почти так же долго, как наверху.

Тем временем вернулся полицейский, который уезжал. Скоро он опять прошел к автомобилю и достал оттуда две лопаты. Двое младших чинов, под присмотром полковника Леграна, стали вскапывать цветочную клумбу. Комиссар вошел в гостиную.

– Вы не возражаете, если эта женщина вас обыщет?

– Не возражаю.

– Не возражаю.

Он повернулся к Лидии.

– Тогда, может быть, мадам пройдет с ней в свою комнату.

Наверху Лидия поняла, почему они оставались здесь так долго. Казалось, в комнате рылись грабители. На кровати валялась одежда Робера, и Лидия догадалась, что каждую вещь подвергли весьма тщательному осмотру. Наконец тяжкое испытание окончено, комиссар принялся задавать Лидии вопросы, касающиеся гардероба мужа. Отвечать было не трудно, весь-то гардероб Робера – две пары теннисных брюк, два костюма, кроме того, что на нем, смокинг да брюки гольф, и не было причины говорить неправду. Когда обыск наконец завершился, шел уже восьмой час. Но у комиссара оказалось и еще дело. Он взял со стола сумочку Лидии, которую она принесла из кухни.

– Я беру ее с собой и ваши часы тоже, будьте добры, снимите их, мадам.

– Почему?

– У меня есть основания полагать, что они краденые.

Лидия растерянно на него уставилась. Но тут вмешался полковник Легран:

– Вы не имеете права их забирать. Ваш ордер на обыск в доме не дает вам разрешения уносить отсюда ни единой вещи.

Комиссар любезно улыбнулся.

– Совершенно верно, мосье, но я распорядился, и мой коллега привез соответствующее разрешение.

Комиссар протянул руку полицейскому, который уезжал в автомобиле, – теперь стало ясно, по какому делу, – и тот достал из кармана бумагу и подал комиссару. А комиссар передал ее полковнику Леграну.

Полковник прочел ее и повернулся к Лидии.

– Придется вам выполнить требование комиссара.

Лидия сняла с руки часы. Комиссар сунул их вместе с сумочкой к себе в карман.

– Если мои подозрения окажутся безосновательными, вам, конечно, все вернут.

Наконец все ушли, Лидия заперла за ними дверь на засов, и мадам Берже поспешила во флигель. Лидия пошла за ней. Увидев, что творится в комнате, мадам Берже вскрикнула:

– Скоты!

Она кинулась к гардинам. Они лежали на полу. Она увидела, что швы распороты, и у нее вырвался пронзительный вопль. Она обратила к Лидии перекошенное от страха лицо.

– Не бойтесь, – сказала Лидия. – Деньги они не нашли. Я нашла их раньше и уничтожила. Я знала, вы на это не решитесь.

Она протянула свекрови руку и помогла подняться. Берже смотрела на Лидию во все глаза. Они ни разу не заговаривали друг с другом о том, о чем каждая неотступно и мучительно думала эти двое суток. Но теперь пришел конец. Мадам Берже сильно, до боли стиснула руку Лидии и резко, напористо произнесла:

– Клянусь тебе всей силой моей любви к Роберу, не убивал он англичанина.

– Зачем так говорить, ведь вы, как и я, уверены, что он убил?

– Ты пойдешь против него?

– С чего вы взяли? Зачем, по-вашему, я уничтожила деньги? Вы, видно, совсем потеряли голову, вообразили, что полиция их не найдет. Да разве опытный сыщик упустит такое подходящее для тайничка место?

Пальцы мадам Берже, впившиеся в руку Лидии, разжались. Выражение лица ее изменилось, она громко всхлипнула. Потом вдруг обняла Лидию, прижала к груди.

– Бедное мое дитя, какую беду, какое несчастье я навлекла на тебя.

Впервые мадам Берже дала волю чувствам при Лидии. Впервые обнаружила, что способна любить нерасчетливо, бескорыстно. Тяжкие, мучительные рыдания сотрясали ее, она отчаянно припала к Лидии. Лидия была глубоко тронута. Страшно было видеть, как эта сдержанная, гордая женщина с железной волей потеряла самообладание.

– Ни за что нельзя было позволить ему жениться на тебе, – рыдая, говорила она. – Это было преступно. Нечестно по отношению к тебе. Но мне казалось, только это может его спасти. Ни за что, ни за что, ни за что не

должна была я это допустить.

– Но я его любила.

– Знаю. Но простишь ли ты его когда-нибудь? Простишь ли меня? Я его мать, я люблю его несмотря ни на что, а твоя любовь разве может выдержать такое?

Лидия вырвалась из объятий свекрови, схватила ее за плечи. Встряхнула.

– Послушайте меня. Я полюбила не на месяц и не на год. Я полюбила навсегда. Его единственного я полюбила. И никого другого уже не полюблю. Что бы он ни сделал, что бы ни ждало нас в будущем, я его люблю. Ничто не заставит меня любить его меньше. Я его обожаю.

Назавтра вечерние газеты сообщили, что за убийство Тедди Джордана арестован Робер Берже.

Несколько недель спустя Лидия узнала, что ждет ребенка, и с ужасом поняла, что зачала в ту самую ночь, ночь зверского убийства.

За столиком, где сидели Лидия и Чарли, воцарилось молчание. Они давно уже отужинали, все остальные посетители ушли. Чарли, который слушал Лидию без единого слова, поглощенный ее рассказом как никогда и ничем в жизни, все-таки сознавал, что ресторан опустел, а официанты жаждут от них избавиться, и раза два чуть не сказал Лидии, что им пора уходить. Но нелегко это было, она говорила, словно в трансе, и хотя их взгляды временами встречались, у него было жутковатое ощущение, что она его не видит. А потом вошла компания американцев, трое мужчин и три девицы, и спросили, не слишком ли поздно, накормят ли их. Предвидя выгодный заказ, так как компания была очень веселая, patronne (хозяйка, владелица – фр.) заверила американцев, что повар здесь ее супруг, и если они не прочь обождать, он состряпает все, что они пожелают. Они заказали коктейли с шампанским. Они заявили сюда, чтобы приятно провести время, и ресторанчик наполнился их беззаботным смехом. Но трагический рассказ Лидии, казалось, окружил столик, за которым она сидела с Чарли, таинственной и зловещей дымкой, и приподнятое настроение веселой компании не проникало сквозь нее; Лидия и Чарли сидели в уголке одни, словно огражденные невидимой стеной.

– И вы все еще его любите? – спросил наконец Чарли.

– Всем сердцем.

С такой страстной искренностью она ответила, что не поверить он не мог. Удивительно это было, Чарли даже растерянно поежился. Казалось, Лидия – существо совсем иной человеческой породы. Это неистовство чувств пугало Чарли, и неуютно ему стало с нею. Ощущение возникло такое, словно он проболтал с кем-то час-другой и вдруг понял, что разговаривает с привидением. Но одно не давало Чарли покоя. Мысль эта не шла у него из головы последние двадцать четыре часа, однако ему не хотелось, чтобы Лидия сочла его блюстителем нравов, и до сих пор он молчал.

– Не могу взять в толк, как же при этом вы можете быть в таком месте, как S rail. Разве нельзя было найти какой-то иной способ зарабатывать на жизнь?

– С легкостью.

– Тогда я не понимаю.

– После суда все были очень добры ко мне. Я могла стать продавщицей в одном большом магазине. Я хорошая швея, была в учении у портнихи, могла бы получить работу по этой части. Нашелся даже человек, который хотел на мне жениться, если я разведусь с Робером.

Казалось, что тут еще скажешь, и Чарли молчал. Лидия поставила локти на стол, покрытый скатертью в красную и белую клетку, уперлась подбородком в ладони. Чарли сидел напротив нее; долгим, задумчивым взглядом, который, казалось, проникал в самые глубины его существа, Лидия смотрела ему в глаза.

– Я искала искупления.

Чарли уставился на нее, ничего не понимая. Чуть слышно произнесенные слова эти его потрясли. Никогда еще он ничего подобного не испытывал – будто вдруг разодрали пелену, которая придавала миру знакомые приятные краски, и он заглянул в сотрясаемую корчами тьму.

– Бога ради, что вы хотите этим сказать?

– Хотя я люблю Робера всем сердцем, всей душой, я знаю, он согрешил. Я чувствовала, только тем я и могу ему послужить, что подвергну себя унижению, самому чудовищному из всех, какие могла себе представить. Сперва я решила пойти в какой-нибудь публичный дом, где бывают солдаты, рабочие и всякие отбросы большого города, но побоялась, что стану жалеть этих несчастных, ведь поспешные и редкие посещения этих мест – единственное удовольствие в их ужасной жизни. А посетители S rail – богатые, праздные развратники. К тем скотам, которые покупают там мое тело, я не могу испытывать ничего, кроме ненависти и презрения.

Там мое унижение, точно гноящаяся незаживающая рана. Из-за грубой непристойности одежд, которые я вынуждена носить, меня жжет стыд, к нему не привыкаешь. Я радуюсь страданию. Радуюсь презрению, с каким мужчины относятся к тому, что служит их похоти. Радуюсь их скотству. Я в аду, как и Робер, мои страдания соединяются с его страданиями, и, быть может, мои страдания помогают ему переносить те, что выпали на его долю.

– Но он-то страдает, потому что совершил преступление. А вы и так настрадались, хотя ни в чем не виноваты. Чего же подвергать себя излишнему страданию?

– За грех надо платить страданием. Где вам с вашей холодной английской натурой понять, что такое любовь, которая и есть моя жизнь? Я принадлежу Роберу, а он – мне. Если бы я не решила разделить его страдания, я была бы так же отвратительна, как его преступление. Я знаю, чтобы искупить его грех, мне так же необходимо страдать, как ему.

Чарли засомневался. Он не был глубоко верующим человеком. Его воспитали в вере в Бога, но не в мыслях о нем. Думать о Боге – ну, это не то что дурной тон, но некая крайность. Ему трудно сейчас было разобраться в своих мыслях, но казалось чуть ли не естественным высказывать самые неестественные суждения.

– Ваш муж совершил преступление и за это наказан. Смею сказать, это справедливо. Но нельзя же думать, что... что всемилостивый Бог требует, чтобы вы расплачивались за чьи-то злодеяния.

– Бог? При чем тут Бог? По-вашему, я могу видеть, в каких мучениях живет огромное большинство людей, и верить в Бога? По-вашему, я верю в Бога, который допустил, чтобы большевики убили моего несчастного простодушного отца? Знаете, что я думаю? Я думаю, Бог мертв уже миллионы миллионов лет. Я думаю, он умер, когда объял бесконечность и положил начало образованию Вселенной, он умер, а люди из века в век продолжают взывать к нему, который перестал существовать, когда сотворил то, что сделало возможным их существование.

– Но если вы не верите в Бога, я не вижу смысла в том, что вы делаете. Я мог бы это понять, если бы вы верили в жестокого Бога, который требует око за око и зуб за зуб. Если Бога нет, такое искупление, на какое вы решились, теряет всякий смысл.

– Вам так кажется, да? Нет в моем поведении логики. Нет смысла. И однако, в самой глубине моего сердца, нет, больше того, всеми фибрами своей души я знаю, что должна искупить грех Робера. Знаю, только через это он освободится от владеющего им зла. Я не прошу вас считать меня

разумной. Прошу лишь понять, что ничего не могу с собой поделывать. Я верю, что как-то – сама не знаю как – мое унижение, поругание, жестокая, непрестанная боль омоет, очистит его душу, и даже если мы никогда больше не увидимся, он будет мне возвращен.

Чарли вздохнул. Все это было ему странно, странно, и чуждо, и приводило в замешательство. Не понимал он, как с этим быть. Сейчас ему было особенно не по себе с этой чужой женщиной, одержимой безумными фантазиями; а ведь на вид она такая заурядная, смазливенькая, неважно одетая; ее можно принять за машинистку или работницу почты. А у Терри-Мейсонов сейчас как раз, наверно, начинаются танцы; все в бумажных колпаках, которые им достались за праздничным столом. Кое-кто из молодых людей под мухой, но, черт возьми, на Рождество это не зазорно. А сколько будет поцелуев под омелой, сколько шуток, розыгрышей, смеха; все веселятся в свое удовольствие. Казалось, это так далеко, но, слава Богу, оно есть, оно существует, нормальное, достойное, разумное поведение, а не этот кошмар. Кошмар? А может быть, все-таки эта женщина с ее трагической историей, с ее ужасной жизнью была не так уж не права, когда сказала, что Господь, сотворив наш мир, умер, может быть, он покоится мертвый где-то на горном хребте какой-нибудь погасшей звезды или его поглотила Вселенная, им созданная? Забавно это, если подумать о леди Терри-Мейсон, которая рождественским утром собирает всех гостей и ведет в церковь. И его, Чарли, отец ее поддерживает. «Не стану уверять, будто я очень уж часто хожу в церковь, но на Рождество это, по-моему, необходимо. Я хочу сказать, мы тем самым подаем хороший пример». Так, наверно, он бы сказал.

– Не будьте так серьезны,– сказала Лидия.– Идемте.

Они прошли по мрачной, грязной улице, что ведет от авеню дю Мэн к Плас де Ренн, и Лидия предложила пойти на часок в кинохронику. Это был последний сеанс. Потом они выпили по кружке пива и вернулись в гостиницу. Лидия сняла шляпу и мех. И задумчиво посмотрела на Чарли.

– Если вы хотите со мной лечь, я не против,– сказала она совершенно тем же тоном, как если бы спрашивала, предпочитает он пойти в Ротонду или в Дом Инвалидов.

У Чарли перехватило дыхание. Все в нем взбунтовалось. После всего, что она ему рассказала, он и помыслить не мог ее коснуться. На миг он гневно сжал губы; не хватало еще и ему унижать ее плоть. Но врожденная вежливость помешала ему произнести слова, что готовы были сорваться с языка.

– Нет-нет, не думаю, благодарю вас.

– Почему же? Я там именно для этого, и за этим вы и приехали в Париж, разве не так? Разве не за этим вы, англичане, приезжаете в Париж?

– Не знаю. Во всяком случае, я не за этим.

– Тогда чего ради?

– Ну, отчасти чтобы посмотреть некоторые картины.

Лидия пожала плечами..

– Что ж, как хотите.

Лидия пошла в ванную. Чарли был несколько уязвлен тем, как равнодушно она восприняла его отказ. Ему казалось, что она, по крайней мере, могла бы отдать ему должное за такую деликатность. Ведь кое-чем она, пожалуй, ему обязана, хотя бы за стол и кров в эти сутки, и потому он мог бы счесть себя вправе воспользоваться ее предложением; так что ей бы в самый раз поблагодарить его за бескорыстие. Он готов был разобидеться. Он разделся и, когда Лидия вышла из ванной в его халате, пошел почистить зубы. Возвратясь, он застал ее уже в постели.

– Вам не помешает, если я перед сном немного почитаю?– спросил он.

– Нет. Я повернусь спиной к свету.

Чарли привез с собой томик Блейка. И принялся читать. Вскоре по спокойному дыханию Лидии в соседней постели он понял, что она уснула. Он еще немного почитал и выключил свет. Так Чарли Мейсон провел Рождество в Париже.

Наутро они проснулись так поздно, что к тому времени, когда выпили кофе, прочли газеты (будто супруги, женатые уже не один год), вымылись и оделись, было уже около часу.

– Можно пойти выпить коктейль в Доме Инвалидов, а потом пообедать, – сказал Чарли. – Куда бы вы хотели пойти?

– На бульварах, по другую сторону от кафе «Куполь», есть очень хороший ресторан. Только он довольно дорогой.

– Ну, это не важно.

– Вы уверены? – Лидия с сомнением на него посмотрела. – Мне не хочется, чтобы вы тратили больше, чем можете себе позволить. Вы были ко мне так предупредительны. Боюсь, я злоупотребила вашей добротой.

– Чепуха, – вспыхнув, отозвался Чарли.

– Вы не знаете, что значили для меня эти два дня. Такой отдых. Прошлую ночь я впервые за много месяцев спала, не просыпаясь и без снов. Я прямо ожила. Совсем по-другому себя чувствую.

В это утро она и вправду выглядела много лучше. Кожа не такая тусклая, глаза ясные. И голову она держала выше.

– Вы устроили мне замечательные каникулы. Они так мне помогли. Но не годится быть вам в тягость.

– А вы и не были мне в тягость.

Она улыбнулась чуть насмешливо.

– Вы очень хорошо воспитаны, мой дорогой. Это очень мило, что вы так говорите, я совсем не привыкла, чтобы со мной так мило разговаривали, мне даже плакать хочется. Но ведь вы приехали в Париж поразвлечься, а со мной не поразвлечешься, вы уже знаете. Вы молоды и должны наслаждаться своей молодостью. Молодость так недолговечна. Накормите меня сегодня обедом, если хотите, а потом я вернусь к Алексею.

– А вечером в S rail?

– Надо думать.

У Лидии вырвался было вздох, но она сдержалась, беспечно пожала плечами и весело ему улыбнулась. В нерешительности хмурясь, Чарли с грустью смотрел на Лидию. Большим и нескладным чувствовал он себя, и его цветущее здоровье, сознание своего благополучия, неизменная радость жизни странным образом казались ему сейчас оскорбительными. Он был

точно богач, который грубо похваляется своим богатством перед бедным родственником. В этом поношенном коричневом платье хрупкая тоненькая Лидия словно помолодела после хорошего ночного сна и казалась сейчас совсем девчонкой. Ну как было ее не пожалеть? А когда подумаешь о ее трагической судьбе, – против воли подумаешь, потому что думать об этом и страшно и бессмысленно, а все равно тревожишься, и мысль эта не отпускает, – о ее безумной идее втоптать себя в грязь, чтобы искупить преступление мужа, больно сжимается сердце. И чувствуешь, что сам ты ничего не значишь, и если каникулы в Париже, которые предвкушал с таким волнением, не удались, что ж, ничего не поделаешь. Казалось, слова, что с запинкой срывались у него с языка, произносит не он, а какая-то сила в нем, не зависевшая от его воли. Слушая их, он даже в те минуты не понимал, почему говорит такое.

– Мне надо вернуться в контору только в понедельник утром, и я пробуду в Париже до воскресенья. Если вы не против, до тех пор оставайтесь здесь.

Лидия вся просияла, будто случайный луч зимнего солнца проник в комнату.

– Вы это серьезно?

– Не всерьез я бы не предложил.

У нее вдруг будто подкосились ноги, и она упала в кресло.

– Ох, это было бы такое блаженство. Я бы так отдохнула. Набралась мужества. Но не могу я, не могу.

– Почему же? Из-за S rail?

– Нет, нет, тут другое. Им я бы могла послать телеграмму, мол, у меня грипп. Но это нехорошо по отношению к вам.

– А это уже моя забота.

Не слишком приятно было ему уговаривать Лидию поступить так, как ей, конечно же, очень хотелось поступить, ведь он предпочел бы, чтобы она отказалась. Но не мог он вести себя иначе. Лидия испытующе на него посмотрела.

– Чего ради вы это делаете? Вы ведь не желаете меня, нет?

Чарли покачал головой.

– Не все ли вам равно, живу я или умру, счастлива или нет? Вы еще и двух суток со мной не знакомы. Из дружеских чувств? Но я вам чужая. Из жалости? Да разве в ваши годы умеют жалеть?

– Не надо задавать мне вопросов, которые меня смущают, – усмехнулся Чарли.

– Наверно, вы просто по природе великодушны. Недаром говорят,

англичане добры к животным. Помню, одна из наших квартирных хозяек, которая вечно крала у нас чай, подобрала бездомную шелудивую дворнягу.

– Не будь вы такая крошечная, не миновать бы вам пощечины, – весело отозвался Чарли. – Ну, договорились?

– Идемте пообедаем. Я голодна.

За столом они болтали о том о сем, но когда отообедали и Чарли, заплатив по счету, ждал сдачу, Лидия спросила:

– Так вы всерьез предлагаете мне остаться с вами до вашего отъезда?

– Безусловно.

– Вы не представляете, какое это было бы для меня благо. Не могу сказать, как бы я рада поймать вас на слове.

– Что же вам мешает?

– Вам будет мало радости от меня.

– Что ж, согласен, – честно, но с обаятельной улыбкой признался Чарли. – Зато будет интересно.

Лидия рассмеялась.

– Тогда я зайду к Алексею и кое-что возьму. Хотя бы зубную щетку и чистые чулки.

Они расстались у станции метро, и Лидия уехала. А Чарли решил повидать Саймона, если его застанет. Он раза три спрашивал дорогу и наконец оказался на улице Кампань Премьер. Саймон жил в высоком закопченном доме, на ставнях кое-где облупилась краска и виднелось серое дерево. Чарли сунул голову в каморку консержки, и в носшибануло таким затхлым, густым запахом еды и пота, что он едва устоял на ногах. Старушонка в необъятных юбках, голова укутана грязным красным шарфом, скрипучим голосом сердито сказала ему, где живет Саймон, а на вопрос, дома ли он, предложила Чарли пройти да посмотреть самому. Следуя старухиным объяснениям, он прошел через грязный двор и поднялся по узкой лестнице, где пахло застоялой мочой. Саймон жил на третьем этаже и в ответ на звонок Чарли открыл дверь.

– Гм. А я все думал, куда ты подевался.

– Я помешал?

– Нет. Входи. Пальто лучше не снимай. Здесь не очень-то тепло.

Что правда, то правда. В комнате холодина. Это была студия с большим, выходящим на север окном, с печкой, но Саймон, который, видимо, работал, так как стоящий посередине стол был завален исписанными листами, забыл поддержать огонь, и он едва тлел. Саймон пододвинул к печке обшарпанное кресло и пригласил Чарли сесть.

– Я подкину угля. Скоро станет теплей. Сам я не чувствую холода.

Кресло со сломанной пружиной оказалось не слишком удобным. Стены были грязно-серого цвета, похоже, их не красили годами. Единственным украшением служили большущие карты, прикрепленные к стене канцелярскими кнопками. Узкая железная кровать была не застелена.

– Консьержка еще сегодня не приходила,– сказал Саймон, заметив взгляд Чарли.

В комнате только и было, что большой подержанный обеденный стол, за которым Саймон писал, несколько полок с книгами, у стола стул, какими пользуются в конторах, две или три табуретки и груды книг на них да еще кусок потертого ковра у кровати. Безрадостный холодный зимний свет, проникавший сквозь северное окошко, делал убогое жилище еще безотрадней. Таким неприветливым не показался бы даже зал ожидания третьего класса на захолустной станции.

Саймон пододвинул к печке стул и закурил трубку. Далеко не дурак, он легко догадался, какое впечатление произвело на Чарли его жилище, и хмуро улыбнулся.

– Не больно роскошно? А к чему она мне, роскошь? – Чарли промолчал, и Саймон глянул на него холодно и презрительно.– Здесь даже и неудобно, но удобство мне ни к чему. Нельзя зависеть от удобств. Это ловушка, в нее попались многие, кто мог бы быть поумнее.

Чарли иной раз вполне способен был разозлиться и сейчас не пожелал спустить Саймону эти бредни.

– Судя по твоему виду, ты устал, замерз и проголодался, старина. Как насчет того, чтобы взять такси, махнуть в бар Ритц и, сидя в тепле, в удобных креслах, съесть яичницу с беконом?

– Иди к черту. А куда ты дел Ольгу?

– Ее зовут Лидия. Она пошла домой за зубной щеткой. Она пробудет со мной в гостинице до моего отъезда.

– Ох, и чертовка она. Малость зацепило, а? – Молодые люди впились друг в друга глазами. Потом Саймон подался вперед.– Ты, часом, не влюбился?

– Ты зачем нас свел?

– Я думал, это будет забавно. Думал, тебе будет в новинку переспать с женой известного убийцы. И сказать по правде, мне казалось, ты можешь прийти к ней по вкусу. Вот бы я тогда посмеялся. У тебя ведь тот же тип, что у Берже, только ты куда красивей.

Чарли вдруг вспомнились слова Лидии, когда они ужинали вдвоем после полуночной мессы. Теперь он понял, что она тогда имела в виду.

– Представь, она об этом догадалась. Так что, боюсь, не придется тебе

злорадствовать.

– С кануна Рождества, когда я вас оставил, ты все время был с ней?

– Да.

– Похоже, тебе это на пользу. Ты отлично выглядишь. Разве что малость побледнел.

Чарли пытался скрыть смущение. Ему отнюдь не хотелось, чтобы Саймон узнал, что их отношения с Лидией были сугубо платонические. У того это только вызвало бы язвительный смех. Поведение Чарли Саймон счел бы чувствительностью, достойной одного лишь презрения.

– По-моему, это вовсе не забавно отправить меня с ней, не сказав, во что ты меня втравил, – сказал Чарли.

Лицо Саймона исказила кривая улыбка.

– Это отвечало моему чувству юмора. Будет что рассказать родителям, когда вернешься. Во всяком случае, тебе ворчать нет причины. Все удалось как нельзя лучше. Ольга знает свое дело и уж в этом смысле тебя ублажит на славу, вдобавок она не дура; много читала и разговаривает куда умней большинства женщин. Она кой-чему тебя научит, мой милый. Как по-твоему, она все так же влюблена в своего мужа?

– По-моему, да.

– Чудно устроен человек, ты не находишь? Этот Берже жуткая дрянь. Ты, наверно, уже знаешь, почему она в S rail? Она хочет накопить денег, чтобы заплатить за его побег, и тогда поедет к нему в Бразилию.

Чарли огорчился. Он поверил Лидии, будто она пошла в Serail, чтобы искупить грех Робера; идея эта, хоть и казалась нелепой, как ни странно, его тронула. Мысль, что Лидия ему солгала, потрясла его. Если Саймон говорит правду, Лидия его попросту дурачила.

– Знаешь, я писал об этом процессе в нашей газете, – продолжал Саймон. – В Англии статья произвела сенсацию, ведь этот малый, которого убил Берже, был англичанин, и газета не пожалела места. Мне повезло; во Франции я прежде не бывал на процессах об убийстве, а очень хотел на такое поглядеть. В Олд-Бейли (Центральный уголовный суд в Лондоне, в здании Олд-Бейли (по названию улицы, где он находится) – прим.ред.) я был, и мне любопытно было сравнить, как ведут такие деда французы и мы. Я написал о процессе очень подробный отчет, у меня он есть, если хочешь, дам почитать.

– Да, я прочел бы.

– Во Франции это убийство наделало шуму. Понимаешь, Робер Берже не бандит, ничего похожего. Он не из простых. Родители его порядочные люди. Он образован, вполне прилично говорит по-английски. Одна газета

назвала его джентльменом-гангстером, и прозвище привилось; история захватила воображение публики, и он стал знаменитостью. К тому же он на свой лад красив, молод, ему всего двадцать два, как же им не заинтересоваться. Женщины прямо с ума посходили. Господи, в суд было не протолкаться! Когда он вошел в зал, всех прямо затрясло. Два стража ввели его еще до появления судей, чтобы фотографы успели его запечатлеть. В жизни я не видал, чтобы человек был так спокоен. Одет он был вполне элегантно и вещи носить явно умеет. Свежевыбритый, аккуратно причесанный. Волосы темные, красивые. Он улыбался фотографам, по их просьбе поворачивался и так и эдак, чтобы лучше им позировать. Он походил на любого из молодых людей с большими деньгами, которых встречаешь в баре Ритц за стаканом вина и с девушкой. Меня даже забавляло, что он такой негодяй. Прирожденный преступник. Его родители, конечно, не были богаты, но они не голодали, и я думаю, уж сотня-то франков для него всегда находилась. Я написал о нем недурную статью для одного еженедельника, и французская пресса перепечатала из нее отрывки. Здесь это пошло мне на пользу. Я утверждал, что преступление для него своего рода спорт. Улавливаешь? Даже забавно, как я попал в точку. Он был, можно сказать, первоклассный теннисист, подумывали даже готовить его к состязаниям, но, странное дело, он отлично играл в обыкновенных матчах, у него была хорошая подача, и он отлично отбивал мяч, а вот когда доходило до турниров, он неизменно терпел неудачу. Что-то было не так. Ему не доставало силы сопротивления, решительности или чего-то еще, без чего теннисисту не стать чемпионом. Я подумал, есть тут какой-то занятный психологический сдвиг. Да и все равно его спортивной карьере пришел конец, так как каждый раз, как он появлялся в раздевалке теннисистов, у них стали пропадать деньги, и хотя улики против него не было, но все пострадавшие не сомневались, что виновник он.

Саймон снова зажег трубку.

– Одно меня особенно поразило в Робере Берже, это сочетание хладнокровия, самообладания и обаяния. Обаяние, конечно, бесценное свойство, но оно не часто встречается вместе с хладнокровием и самообладанием. Обаятельные люди обычно бесхарактерны и нерешительны, обаяние – оружие, которым природа возмещает их слабости. Такому человеку я никогда бы всерьез не доверился.

Чарли чуть насмешливо глянул на друга; тот всегда преуменьшал достоинства, которыми сам не обладал, ему необходимо было уверить себя, что эти чужие достоинства ничто по сравнению с теми, которыми обладает

он. Но прерывать его Чарли не стал.

– Робер Берже оказался и не бесхарактерным и не нерешительным. Он чуть не вышел сухим из воды. Надо отдать справедливость полиции, они отлично потрудились, чтобы его уличить. Не было в их работе ничего сенсационного, захватывающего, просто они вели расследование дотошно и терпеливо. Возможно, им помог случай, но у них хватило ума не упустить его. Человек должен всегда быть к этому готов, только, знаешь ли, мало кому это дано.

Взгляд Саймона стал отсутствующий, и Чарли лишний раз убедился, что тот думает о себе.

– Вот чего Лидия мне не рассказала, это как полиция впервые его заподозрила, – сказал Чарли.

– Когда они впервые его допрашивали, у них и в мыслях не было, что он имеет какое-то отношение к убийству. Они искали человека куда более рослого и крепкого.

– А что из себя представлял этот Джордан?

– Я ни разу его не встречал. Негодяй он был, но по-своему славный малый. Все его любили. Всегда готов был любому поставить выпивку, а если кто оказался на мели, охотно открывал кошелек. Он был невелик ростом, в прошлом жокей, но в Англии ему предложили убраться подобра-поздорову, а потом выяснилось, что он отсидел девять месяцев в Уормуд Скрабз (Лондонская тюрьма для совершивших преступление впервые – прим.ред.) за подлог. Ему было тридцать шесть лет. В Париже он прожил десять лет. Полиция подозревала, что он замешан в торговле наркотиками, но уличить его не удалось ни разу.

– Но почему полиция вообще стала допрашивать Берже?

– Он был одним из завсегдатаев бара Жожо. Того, где Джордан обычно ел. Место это довольно подозрительное, его посещают жокеи, букмекеры, «жучки», контрабандисты и прочий люд сомнительной репутации, как это называем мы, журналисты, и полиция, понятно, беседовала с каждым из этой публики, кого ей удалось заполучить. Понимаешь, кого-то Джордан в тот вечер ждал, это ясно по тому, что на подносе стояли два стакана и кекс, и они думали, может, он кому-нибудь обмолвился, кого именно ждет. Не без оснований подозревали, что он гомосексуалист, и кто-нибудь из посетителей бара вполне мог видеть его поблизости в чьем-то обществе. Берже вроде водил с ним дружбу, и Жожо, владелец бара, сказал полицейским, что видел, как Берже несколько раз брал у того деньги. Берже однажды обвиняли в том, что он контрабандой провез из Бельгии во Францию героин, и двое парней, которые проходили по этому же делу,

попали за решетку, он же как-то вывернулся. Полиция не сомневалась, что он виновен, и если Джордан имел отношение к наркотикам и из-за этого и погиб, Берже мог знать, чьих это рук дело. Берже темная личность. Его судили и еще за одно преступление – за кражу автомобиля, и он получил два года условно.

– Это я знаю, – сказал Чарли.

– Прodelывал он это и очень просто, и на редкость хитроумно. Ждет, бывало, у какого-нибудь большого магазина, «Прентан» или «Бон Марше», видит, кто-то подъехал в «ситроене» и пошел за покупками, автомобиль оставил у обочины. Тогда он нахально шагает к автомобилю, будто только что вышел из магазина, вскакивает в него и отъезжает.

– А разве хозяева не запирают автомобили?

– Редко. А у него было несколько ключей к «ситроену». Он всегда держался одной марки. Попользуется автомобилем дня два-три, потом оставит его где-нибудь, а пожелав другой автомобиль, прodelывает все сначала. Он украл их десятки. Никогда не пытался их продавать, просто брал займы, когда ему для чего-нибудь бывал нужен автомобиль. Это и натолкнуло меня на идею моей статьи. Он их воровал просто для забавы, ради удовольствия применить свою дерзкую смекалку. Была у него и еще одна хитроумная прodelка, которая всплыла на суде. Он околачивался на автомобиле у автобусных остановок в часы, когда закрывались магазины, заметит женщину, которая ждет автобуса, остановится и предложит подвезти ее. Я думаю, он неплохо разбирался в людях и знал, какого рода женщина скорее всего согласится проехаться с красивым молодым человеком. Итак, женщина садилась в автомобиль, он вез ее в ту она скажет, а на какой-нибудь сравнительно безлюдной улице останавливался, делал вид, что не может запустить мотор, просил женщину выйти, поднять капот и подкачать карбюратор, а он тем временем будет нажимать на автоматический стартер. Женщина исполняла его просьбу, оставив сумочку и свертки в автомобиле, вот уже мотор заработал, она собирается вновь сесть в автомобиль, и тут-то Берже включает скорость и, не давая ей опомниться, уносится прочь, только его и видели. Многие женщины, конечно, обращались в полицию, но видели они его в темноте и только и могли сказать, что за рулем «ситроена» был красивый, приличный на вид молодой человек с приятным голосом, а полиция только и могла, что объяснять им, как неразумно женщине соглашаться на предложение красивого, приличного на вид молодого человека ее подвезти. Берже ни разу не поймали. На суде обнаружилось, что он, должно быть, зачастую неплохо зарабатывал на этих прodelках.

В общем, парочка полицейских явилась к нему домой. Он не отрицал, что в тот вечер был в баре Жожо и посидел там с Джорданом, но ушел около десяти и после его не видел. Немного поговорив с Берже, полицейские предложили ему поехать с ними в комиссариат. Причем заметить, у полицейского комиссара, который занимался расследованием убийства, и в мыслях не было, что Берже убийца. Он полагал, что Джордана с одинаковым успехом мог убить и какой-нибудь бандит, которого он привел к себе домой, и кто-то, связанный с торговлей наркотиками, кого он надул. В последнем случае комиссар надеялся уговорами, запугиванием, угрозами, не мытьем, так катаньем вынудить Берже сообщить полиции что-то, что поможет поймать человека, за которым она охотится.

Мне удалось взять у комиссара интервью. Этого малого зовут Лукас. Он несколько не похож на хорошо нам известный тип полицейского комиссара. Рослый здоровяк, краснощекий, густые усищи, большие блестящие черные глаза. Весельчак и, пари держу, превеликий любитель хорошо пообедать и выпить бутылочку вина. Он родом с Юга, и его южный выговор вовек не выкорчуешь. Смеется он этаким дурацким смехом. По всем признакам, он добродушный весельчак, из тех, что хлопают тебя по спине и внушают полное доверие. Надо сказать, он на диво успешно добивался признания у подозреваемых. На редкость физически выносливый, он мог вести допрос шестнадцать часов подряд. Во Франции не существует допросов с пристрастием на американский лад, я хочу сказать, никаких побоев, зуботычин и прочего, лишь бы вырвать признание; тут просто вводят человека в комнату и заставляют стоять, не позволяют курить и не дают сесть и знай задают вопросы; спрашивают, спрашивают, спрашивают, сами курят, а если проголодаются, велят принести им еду; так продолжается всю ночь, они ведь знают, что ночью человеку всего трудней сопротивляться; и если он виновен, у него должна быть ох какая выдержка, чтобы ради чашки кофе и сигареты к утру не признаться. Но от Берже комиссар ничего не добился. Тот признал, что одно время был в приятельских отношениях с контрабандистами, перевозившими героин, но когда его обвинили, доказал свою невиновность и был оправдан. Сказал, что в юности наделал глупостей, за что получил урок, который пошел ему на пользу, в конце концов он всего лишь брал автомобиль в займы на два-три дня, чтобы прокатиться с девушкой, не слишком это серьезное преступление, а теперь, когда он женился, он ведет добропорядочную жизнь. А что до торговцев наркотиками, он после того давнего суда начисто с ними порвал и понятия не имел, что Тедди Джордан

с ними связан. Он был очень откровенен. Сказал комиссару, что страстно влюблен в жену и больше всего боится, как бы она не узнала о его прошлом. Ради нее, а также и ради себя самого и своей матери он твердо намерен впредь вести достойную жизнь порядочного человека. Веселый толстяк все задавал вопрос за вопросом, но дружелюбно, сочувственно, и в мысль не придет, будто он желает тебе зла. Он приветствовал добрые намерения Берже, поздравил его с женитьбой по любви на бедной девушке, понадеялся, что у них будут дети, а это не только украшение дома, но и утешение родителей. Но он читал досье Берже; он знал, что в той истории с героинем Берже несомненно был виновен, хотя суд и не пожелал его осудить, в тот день он знал также, что из посреднической фирмы Берже уволили и судебного преследования он избежал только благодаря матери, она возместила убытки, вернула присвоенные им деньги. И, уверяя, будто после женитьбы он ведет честную жизнь, он солгал. Комиссар поинтересовался, как у него с деньгами. Берже признался, что он в стесненных обстоятельствах, но кое-что есть у матери, а сам он скоро наверняка получит работу, и тогда все будет порядке. А деньги на карманные расходы? Время от времени он по мелочам играет на скачках и подыскивает клиентов букмекерам, так он и с Джорданом подружился, и получает комиссионные. А случается, и ходит с пустым кошельком.

«En effet (в самом деле, действительно – фр.),– сказал комиссар,– вы говорили, что накануне того дня, когда был убит Джордан, вы оказались без гроша и заняли у него пятьдесят франков».

«Он был хорош со мной. Бедняга. Мне будет его не доставать».

Комиссар смотрел на Берже своими дружелюбными блестящими глазами, и ему подумалось, что совсем он не гнусен. Возможно ли это? Да нет, чепуха. Врет он, говоря, что порвал отношения с торговцами наркотиками. Ведь ему нужны деньги, а там можно хорошо заработать; Берже вращался среди той самой публики, которая употребляет наркотики. Комиссару казалось, хотя он и сам не знал, откуда у него такая мысль, что если Берже и не знает наверняка, кто убийца, то кого-то подозревает; конечно, он ничего не скажет, но если у него дома, в Нейи, найти героин, его можно будет и принудить. Комиссар превосходно разбирался в людях и не сомневался, что ради спасения собственной шкуры Берже выдаст дружка. Он решил задержать Берже в участке, и пускай в доме произведут обыск раньше, чем тот сумеет избавиться от всего, что там может храниться. С этой же мыслью он спросил, где и в какое время был Берже в вечер убийства. Тот сказал, что приехал из Нейи довольно поздно и пошел в бар Жожо; там было полно народу после скачек. Его угостили

стаканчиком-другим, а Джордан, у которого выдался удачный день, сказал, что заплатит за его ужин. Он поел, послонялся по бару, но там было очень накурено, у него заболела голова, и он пошел пройтись по бульвару. Потом около одиннадцати вернулся к Жожо и оставался там до последнего поезда метро в Нейи.

«Сказать по правде, вы отсутствовали достаточно долго, чтобы успеть убить англичанина», – шутливо заметил комиссар.

Берже расхохотался.

«Уж не собираетесь ли вы обвинить меня в этом?» – сказал он.

«Нет, в этом нет» – со смехом ответил комиссар Лукас.

«Поверьте, смерть Джордана для меня потеря. Пятьдесят франков он мне одолжил за день до того, как его убили, но это не первые деньги, которые я у него занимал. Может, оно и не очень по совести, но стоило ему выпить стаканчик-другой, и у него с легкостью можно было получить денежки».

«А все-таки в тот день он сорвал изрядный куш, и хотя уходил из бара не захмелевший, настроение у него было отличное. И вы могли подумать, а не лучше ли разом заполучить несколько тысяч франков, чем изредка получать по полсотни».

Комиссар сказал это скорее из желания подразнить Берже, на самом деле он вовсе так не думал. Но ему казалось, будет очень неплохо, если Берже испугается, что его подозревают в убийстве. В этом случае он охотнее назовет виновника, если у него есть на этот счет свои соображения. Берже вынул из кармана деньги и положил на стол. Там не было и десяти франков.

«Вам не кажется, что, ограбь я беднягу Джордана, у меня в кармане было бы побольше денег?»

«Ничего мне не кажется, мой дорогой. Я только отметил, что у вас было время убить Джордана и что деньги были бы вам очень кстати».

Берже ответил ему открытой обезоруживающей улыбкой.

«Не отрицаю ни того, ни другого», – сказал он.

«Буду с вами совершенно откровенен, – сказал комиссар. – Я не думаю, будто Джордана убили вы, но уверен, что если вы и не знаете, кто убийца, то хотя бы кого-то подозреваете».

Берже это отрицал и, как комиссар ни настаивал, стоял на своем. Было уже поздно, и комиссар решил, что лучше возобновить беседу на другой день, да притом ночь в камере заставит Берже поразмыслить о своем положении. Берже, который уже дважды попадал за решетку, знал, что протестовать бесполезно.

Торговцы наркотиками, знаешь ли, на какие только хитрости не пускаются, чтобы скрыть свой товар. Прячут его в полых тростях, в каблуках, в подкладке старой одежды, в матрацах и подушках, в кроватном остоле и еще невесть где, но полиции известны все их фокусы, и даю голову на отсечение, если бы в доме Берже в Нейи что-нибудь было бы, они непременно бы нашли. Не нашли ничего. Но когда комиссар обыскивал спальню Лидии, он наткнулся на сумочку и удивился, очень уж дорогая вещь у женщины такого скромного достатка. Были у нее и часы, которые явно стоили больших денег. Она сказала, что это подарки мужа, и комиссар подумал, что любопытно бы узнать откуда у него взялись деньги на это. Вернувшись в участок, он велел навести кое-какие справки и очень быстро узнал, что несколько женщин обращались в полицию, так как у них украли сумочки молодой человек, который предлагал подвезти их в «ситроене». Одна женщина оставила описание похищенной таким образом сумочки, и оно совпадало с той сумочкой, которую комиссар нашел у Лидии; другая женщина заявила, что в ее сумочке лежали золотые часы работы такого-то мастера. Имя того же мастера стояло и на часах Лидии, Стало ясно, что таинственный молодой человек, которого полиции никак не удавалось изловить, и есть Робер Берже. Это никак не давало ключа к разгадке убийства Джордана, но комиссар обрел еще одну возможность вынудить Берже проговориться. Он велел ввести Берже и попросил того объяснить, как к нему попали сумочка и часы. Берже сказал, что сумочку купил у девки, которой нужны были деньги, а часы у мужчины, которого встретил в баре. Имени ни той, ни другого он назвать не мог. То были случайные люди, он с ними поговорил, но больше их не встречал. Тогда комиссар на законном основании его арестовал и, обвинив в воровстве и посулив наутро очную ставку с женщинами, которым явно принадлежали эти вещи, попытался уговорить его признаться и тем избежать неприятностей. Но Берже настаивал на своих показаниях и отказался отвечать, пока не пригласят адвоката; по французским законам арестованный имеет право требовать присутствия адвоката при допросе. Пришлось комиссару согласиться и на ночь прервать разбирательство.

Наутро обеих женщин, о которых шла речь, пригласили в комиссариат, и обе с первого взгляда признали свои вещи. Берже ввели в кабинет, и одна из них тотчас узнала в нем того любезного молодого человека, который ее подвез. Другая сомневалась: она приняла предложение подвезти ее поздно вечером и не разглядела его лица, но думала, что узнает его голос. Берже велели прочесть вслух несколько фраз из газеты, и не прочел он и десятка слов, как женщина воскликнула, что уверена, это он и есть. Должен сказать,

голос у Берже необычно мягкий, ласкающий. Женщин отпустили, а Берже отвели обратно в камеру. Сумочка и часы лежали перед комиссаром на столе, и его взгляд лениво скользил по ним. Вдруг выражение его лица стало напряженно-внимательным.

Чарли его перебил:

– Саймон, ну откуда тебе это известно? Ты фантазируешь.

Саймон рассмеялся.

– Я немного драматизирую. Я тебе пересказываю свою первую статью. Ты ведь понимаешь, мне надо было расписать все это как можно красочнее.

– Тогда продолжай.

– Так вот, он послал за одним из своих людей и спросил, были ли на руке у Берже часы при аресте, и если были, велел их принести. Помни, все это всплыло потом, на суде. Полицейский принес часы Берже. Это была подделка под золото, они были из металла, который называется, кажется, ауреум, с круглым циферблатом. В газетах сообщалось множество подробностей, связанных с убийством Джордана; писали, например, что нож, которым был нанесен удар, найти не удалось, кстати, его так и не нашли; писали и что полиция не обнаружила отпечатков пальцев. А ведь они должны были остаться либо на кожаном бумажнике, в котором Джордан держал деньги, либо на ручке двери, – значит, заключила полиция, убийца был в перчатках. Но вот об одном газетой не сообщали, потому что об этом умолчала полиция: комнату Джордана обыскали тщательнейшим образом и обнаружили осколки часового стекла. Осколки явно не были от часов Джордана, и вовсе не обязательно они были от часов убийцы, ну, а вдруг, так или иначе, в волнении и спешке убийца случайно стукнулся о мебель и разбил стекло своих часов. В такую минуту он вряд ли бы это заметил. Осколки нашлись не все, но их хватило, чтобы стало ясно, что часы были небольшие и прямоугольные. Комиссар спрятал осколки в конверт, аккуратно завернув их в папиросную бумагу, а теперь разложил перед собой. Они как раз подходили к часам Лидии. Это могло оказаться просто совпадением; существуют тысячи часов такого же размера и формы. У часов Лидии стекло в целости. Но комиссар размышлял. Прокручивал в уме разные возможности. Похоже было, все они притянуты за уши, и он только плечами пожал. Разумеется, за те по меньшей мере три четверти часа, когда, как заявлял Берже, он прогуливался по бульвару, у него вполне хватило бы времени дойти до квартиры Джордана – всего десять минут ходу от бара Жожо, – совершить убийство, вымыть руки, привести себя в порядок и вернуться в бар; но с чего б ему носить часы жены? У него же есть свои. Свои, разумеется, могли испортиться. Комиссар задумчиво

кивнул.

Чарли прыснул.

– Ну знаешь, Саймон!

– Помолчи. Он распорядился, чтобы сыщики обошли часовых дел мастеров в радиусе двух километров вокруг дома Берже в Нейи. Им велено было спрашивать, не приносили ли им в починку за последнюю неделю часы из поддельного золота или не вставляли ли они стекло в дамские часики с прямоугольным циферблатом. Неделю спустя один из сыщиков вернулся и сообщил, что в часовой мастерской, примерно в четверти мили от дома Берже, мастер сказал, что чинил подходящие по описанию часы, и когда клиентка их забирала, она попросила вставить стекло в другие часы. Он тотчас это сделал, и она через полчаса за ними зашла. Он не помнит ее лица, но говорила она вроде с русским акцентом. Обе пары часов показали часовщику, и он заявил, что это те самые часы и есть. Комиссар так расплылся, словно сидел в марсельском ресторане «Старый порт» и перед ним поставили большую тарелку bouillabaisse (род ухи в чесноком и пряностями – фр.) Теперь он знал, преступник у него в руках.

– Каково же объяснение?

– Просто, как дважды два. У Берже испортились часы, и он взял часы Лидии. Она редко выходила из дому и могла обойтись без них. Не забудь, в ту пору она была тихая, скромная, довольно робкая, без друзей, я бы сказал, какая-то вялая. На суде двое мужчин заявили под присягой, что видели эти часы на руке у Берже. Жожо, который был осведомителем, знал, что Берже мошенник, и заинтересовался, откуда у него такие часы. Как бы случайно он заметил Берже, что у него новые часы, и Берже сказал, что это часы жены. Лидия пошла за часами мужа наутро после убийства и заодно попросила вставить новое стекло в свои часы. Ей не пришло в голову сказать Берже, что он разбил стекло, и он так и не узнал об этом.

– Неужели, по-твоему, на этом основании его обвинили?

– Нет. Но это уже давало комиссару право предъявить ему обвинение в убийстве. Он решил и, как показалось дальнейшее, не ошибся, что не заставит себя ждать и другая улика. Во время допросов Берже вел себя с поразительной находчивостью и самообладанием. Он признал все, что могло быть доказано, и больше не пытался отрицать что украл сумочки у всех тех женщин; он признался, что даже после того, как был обвинен, продолжал угонять автомобили всякий раз, как приходила охота; уж слишком это было легко и он не мог устоять – чересчур сильна в нем тяга к риску, но он начисто отрицал свою причастность к убийству. Что осколки стекла подходят к часам Лидии ровно ничего не доказывает, утверждал он,

а она клялась самыми страшными клятвами, что часы разбила сама. Судебный следователь, к которому, как и полагалось, под конец поступило дело, был озадачен тем, что никаких следов денег, по всей вероятности украденных Берже, найти не удалось. Еще одна странность – на одежде, в которой Берже был в тот вечер, не нашли никаких следов крови. Не нашелся и нож. Было доказано, что нож у Берже имелся, в его среде это не редкость, но он утверждал, что потерял его за месяц до убийства. Я уже тебе говорил, что сыщики очень неплохо поработали.

Отпечатков пальцев обнаружить не удавалось ни на украденных автомобилях, ни на украденных сумочках, – опустошив их, Берже попросту выбрасывал их на улице, и некоторые потом попадали в руки полиции; тем самым стало очевидно, что он надевал перчатки. Среди вещей Берже полиция нашла пару кожаных перчаток, но вряд ли он пошел в них к Джордану, а по тому, где обнаружено было тело, ясно, что удар был нанесен, когда Джордан менял пластинку, и, значит, Берже убил его не тогда, когда Джордан впустил его в комнату. К тому же перчатки слишком большие, в карман не положишь, а будь он в них в баре, кто-нибудь бы их да заметил. Фотографию Берже, разумеется, напечатали все газеты, – зайдя в тупик, полиция обратилась за помощью к прессе. Просили объявиться любого, кто помнит, что примерно такого-то числа продал пару перчаток, вероятно, серых, молодому человеку в сером костюме. Газеты лихо разыграли эту карту, опять опубликовали фотографию, на сей раз под заголовком: «Не вы ли продали перчатки, в которых он убил Тедди Джордана?»

Знаешь, меня всегда поражает, с каким злобным рвением люди стремятся выдать кого угодно. Они притворяются, будто ими движет общественный дух, но нет, не верю я этому; не верю даже, что это жажда известности, во всяком случае, как правило; по-моему, причина в человеческой низости, в удовольствии, которое получает человек, кому-нибудь навредив. Как ты, конечно, знаешь, считается, что министерство финансов и высокий суд по делам о разводах создали замечательную систему шпионажа, чтобы обнаруживать тех, кто уклоняется от уплаты налогов, а также тех истцов и ответчиков, кто ради развода вступает в тайный сговор. Так вот, это все неправда. Они опираются на анонимные письма. Счету нет людям, которые всегда рады случаю дать подножку тому, кто пытается избежать наказания.

– Мрачный вывод, – сказал Чарли, но прибавил бодро: – Надеюсь только, что ты преувеличиваешь.

– Ну, короче говоря, отозвалась женщина из отдела перчаток в

магазине «Труа Картье», она сказала, что помнит, как в день убийства продала молодому человеку серые замшевые перчатки. Женщине этой, лет сорока, покупатель приглянулся. Он был очень озабочен тем, чтобы перчатки подошли к его серому костюму, и хотел, чтобы они были не слишком маленькие и легко надевались. Берже провели перед ней вместе с дюжиной других молодых людей и она тотчас на него указала, но его адвокат заявил, что сделать это ей было проще простого, ведь она только что видела его фотографию в газете. Потом полиции подвернулась одна темная личность, приятель Берже, и он сказал, что в вечер убийства видел, как тот шел не к бульвару, а в другую сторону, как раз в ту, где находилась квартира Джордана. Они пожали друг другу руки, и он заметил, что Берже в перчатках. Но свидетель этот был отъявленный негодяй. Репутация у него была прескверная, и на суде защитник Берже яростно обрушился на него. Берже отрицал, что в тот самый вечер они виделись, и адвокат старался убедить суд, что это сфабриковано, тот все придумал, чтобы подольститься к полиции. Роковой уликой оказались брюки. В газетах чего только не писали об элегантности Берже, о гангстере-франте и прочее; читая все это, можно было подумать, будто он покупал костюмы на Савил-Роу (улица в Лондоне, где расположены ателье дорогах мужских пару брюк – прим.ред.), а галантерейные мелочи у Шарве. Обвинение жаждало доказать, что он отчаянно нуждался в деньгах, и они обошли все лавки, где делались покупки для самого Берже и для хозяйства, хотели узнать, не требовали ли от него срочно оплатить счета. Но оказалось, для дома все покупалось за наличные и никаких долгов за семьей не числится. Что же до одежды, выяснилось, что с тех пор, как Берже уволили со службы, он купил себе только один серый костюм. Сыщик, который расспрашивал портного поинтересовался, когда за костюм было заплачено, и портной справился с записями в книге. То был портной, рекламирующий свои изделия, дело у него было поставлено на широкую ногу, и он шил костюмы на заказ по сходной цене. И тогда оказалось, что Берже заказал к костюму запасную пару брюк. У полиции был список всего принадлежащего ему гардероба, и эта пара брюк в нем не значилась. Они тотчас поняли, как важна эта подробность, и решили до суда хранить открытие в тайне.

Можешь мне поверить, захватывающая была минута когда обвинение сказало об этом вслух. Нет сомнений, у Берже были две пары брюк к новому серому костюму, и одна пара исчезла. Его спросили об этом, но он даже не пытался дать объяснения. Казалось, он ничуть не смутился. Сказал, он и не знал, что они исчезли. Прибавил, что последние месяцы, сидя в тюрьме в ожидании суда, не имел случая разбираться в своем

гардеробе, а на вопрос, как все-таки он может объяснить их исчезновение, дерзко предположил, что кому-нибудь из полицейских, которые производили в доме обыск, понадобились новые брюки, и он их присвоил. Зато у мадам Берже было наготове объяснение, и, должен сказать, мне оно показалось весьма хитроумным. Она сказала, что Лидия гладила брюки, она всегда их гладила после того, как Робер в них выходил, уют был чересчур горячий, и она их сожгла. Робер крайне привередлив в одежде, а деньги на костюм он собрал не без труда, и дома знали, что он рассердится на жену; поэтому, желая избавить ее от упреков и видя, как она испугана, мадам Берже предложила ничего ему не говорить; она избавится от этих брюк, а Робер, возможно, никогда и не узнает, что они исчезли. На вопрос, куда же она их подевала, мадам Берже ответила, что в дверь как раз позвонил какой-то бродяга, просил денег, а она вместо денег отдала ему брюки. Заинтересовались размерами прожженной дыры. Она клялась, что брюки стали никуда не годны, а когда обвинитель заметил, что можно было отдать их в художественную штопку, она ответила, что это стоило бы дороже самих брюк. Далее обвинитель предположил, что при стесненных обстоятельствах семьи Берже вполне мог бы носить их дома; уж лучше бы стерпеть его неудовольствие, чем выбрасывать вещь, которая еще могла послужить. Мадам Берже сказала, ей это не пришло в голову, она отдала их бродяге, поддавшись желанию поскорей от них отделаться. А не потому ли она спешила от них отделаться, что на них оказались пятна крови, заметил прокурор, и, пожалуй, она не отдала их так кстати подвернувшемуся бродяге, а своими руками их уничтожила. Она горячо это отрицала. Ну, а где ж тогда бродяга? Он должен был бы узнать об убийстве из газет и, зная, что на карту поставлена человеческая жизнь, должен был бы объявиться. Мадам Берже повернулась к корреспондентам, в волнении вскинула руки и воскликнула:

«Пускай эти господа повсюду об этом напишут, пускай заклинают его объявиться и спасти моего сына!»

В роли свидетеля она была великолепна. Прокурор подверг ее беспощадному допросу, она яростно отбивалась. Он провел ее по жизни сына, и она признала все его провинности от истории в теннисном клубе до краж в посреднической конторе, хозяин которой после того, как Берже сознался из сострадания простил его. Вину за все она полностью взяла на себя. Во Франции свидетелю дана гораздо большая свобода высказываться, чем в английском уголовном суде, и, горько упрекая себя, мадам Берже признала, что во всех ошибках сына виновато полученное им воспитание – слишком она ему потакала. Он единственный ребенок, и она его

избаловала. Ее муж лишился ноги на войне, когда под огнем оперировал раненых, и его плохое здоровье требовало от нее неослабного внимания и заботы, даже в ущерб материнским обязанностям. Безвременная кончина мужа оставила несчастного мальчика без наставника. Она взывала к чувствам судей, многословно рассказывая, какое горе обрушилось на нее и сына, когда смерть лишила главы их маленькую семью. После смерти мужа сын остался единственным ее утешением. Он всегда был горяч, своеволен, легко поддавался дурным влияниям, говорила она, но он такой любящий, и, в чем бы он ни был виноват, он никак не способен убить человека, от которого не видел ничего, кроме добра. Однако ей не удалось произвести на суд хорошее впечатление. Она так расписывала свою безукоризненную добропорядочность, что это резало слух. Защищая обожаемого сына, она не упустила случая напомнить суду, что она дочь штабного офицера. Она была вся в черном, но одета элегантно, пожалуй, чересчур элегантно, и производила впечатление женщины, которая пытается жить выше своих возможностей; а лицо жесткое, решительное, и видно, что она очень себе на уме; невозможно было поверить что подаст нищему корку хлеба, не то что брюки, пусть даже и негодные.

– А Лидия?

– Лидия выглядела довольно трогательно. Было уже вполне естественно, что она всеми силами старается спасти мужа. Когда она рассказывала, какой он был с нею добрый и нежный, это звучало даже трогательно. Ясно было, что она безумно его любит. Взгляд, каким она на него посмотрела, когда шла давать показания, не мог никого оставить равнодушным. Из всей толпы свидетелей, полицейских и сыщиков, тюремщиков, завсегдаев бара, осведомителей, проходимцев, психиатров-экспертов (суд пригласил и экспертов, они обследовали Берже, и уж такой представили его психологический портрет, не обрадуешься), из всей этой толпы, скажу тебе, казалось, одной ею и владело человеческое чувство.

Берже защищал один из лучших адвокатов по уголовным делам, мэтр Лемуан, очень высокий, худой, с длинным бледным лицом, огромными черными глазами и гривой угольно-черных волос. Таких красноречивых рук, как у него, я в жизни не видал. В адвокатской черной мантии с двумя белыми полосами, спускающимися из-под подбородка, он был весьма внушителен. У него был глубокий сильный голос. Не очень понимаю почему, но он напоминал одну из загадочных фигур на картине Лонги. Был он не только оратор, но и актер. По виду человека он мог определить его характер, а по тому, как он молчал, – понять, что показания не заслуживают доверия. Видел бы ты, как ловко он обходился с враждебными

свидетелями, как вкрадчиво вынуждал их противоречить самим себе, с каким презрением выставлял напоказ их низость, как высмеивал их притворство. Он умел быть обезоруживающе убедителен и отвратительно груб. Когда эксперты-психологи, повторно освидетельствовав Берже в тюрьме, дали заключение, что он самовлюбленный, самонадеянный, лживый, жестокий, не способен различать добро и зло, неразборчив в средствах, не знает угрызений совести, мэтр Лемуан спорил с ними так убедительно, словно был ученым-психологом. Наблюдать за работой его изощренного мозга было сущее наслаждение. Обычно он говорил непринужденно, словно просто беседуя, но беседу эту украшал приятный голос и великолепное владение словом; все, что он говорил, могло безо всяких изменений стать страницей книги; а уж в своей заключительной речи он пустил в ход все свои таланты и просто ошеломил слушателей. Он утверждал, что улики не убедительны; он облил презрением показания имеющих дурную репутацию свидетелей; он сбивал суд с толку; он заявлял, что прокурор не сумел доказать справедливость обвинения, на основании которого можно было бы осудить его подзащитного. Он то вдруг обращался к судьям запросто, как человек к человеку, то взволнованно взывал к их милосердию, и голос его становился все громче, громче, и скоро уже его речь гремела в зале заседаний, как раскаты грома. Потом вдруг замолкал, да так выразительно, что у тебя мурашки шли по коже. Резюме его было великолепно. Он сказал присяжным, что они должны исполнить свой долг и судить по совести, но при этом умолял их отказаться от предубеждения, вызванного преступлениями, в которых обвиняемый сознался, а потом негромко, дрожащим от волнения голосом – Господи, как же это впечатляло! – напомнил им что человек, которому прокурор требовал вынести смертный приговор, сын вдовы, дочери солдата, у которого есть заслуги перед Францией, и офицера, отдавшего за нее жизнь; он напомнил, что подсудимый недавно женился, женился по любви, и его молодая жена носит под сердцем плод их союза. Неужели они позволят этому невинному агнцу войти в мир с клеймом позора, ибо родитель осужден за убийство? Трескучие фразы? Ну, конечно, но если бы ты был там и слышал эти душераздирающие речи, ты бы так не подумал. Черт возьми! Как публика плакала. Я сам чуть не расплакался, да увидел, как по щекам Берже текут слезы и он утирает глаза платком, и так мне это показалось смешно, что я овладел собой. Но это было нелегко, и никакие судебные исполнители не смогли бы остановить аплодисменты, которые разразились в зале, когда мэтр Лемуан сел. Прокурор был плотный румяный малый лет тридцати пяти – сорока, по виду фермер с севера

Англии. Он источал самодовольство. Так и чувствовалось, что для него это замечательный случай произвести сенсацию и сделать карьеру. Он был многословен и разглагольствовал так путано, что, если бы председательствующий время от времени не приходил ему на помощь, присяжные едва ли поняли бы, к чему он клонит. Он не чурался дешевого мелодраматизма. В какую-то минуту он повернулся к Берже, который как раз что-то говорил одному из стражей, сидящему рядом на скамейке, и сказал:

«Улыбайтесь, улыбайтесь, но вот когда со связанными за спиной руками вас выведут и при сером холодном свете занимающегося дня вы увидите гильотину во всем ее ужасе, вам будет не до улыбок. Тогда уж вы не улыбнетесь, вас затрясет от страха, и раскаянье стиснет вам сердце».

Берже с усмешкой глянул на стражника, с таким явным презрением он слушал прокурора, что, не будь тот одержим тщеславием, он бы поневоле смешался. И одно удовольствие было видеть, как с прокурором обходится Лемуан. Он осыпал его комплиментами, но таким язвительным тоном, что при всем своем тщеславии тот не мог не понять, что его выставляют на посмешище. Лемуан был беспощаден, но безупречно вежлив и снисходительно любезен, и во взгляде председателя суда можно было подметить искорку восхищения. Сильно сомневаюсь, что поведение прокурора на этом процессе помогло ему продвинуться по службе.

Трое судей сидели в ряд на скамье. В своих алых мантиях и черных квадратных шапочках они выглядели весьма внушительно. Двое, мужчины средних лет, ни разу не раскрыли рта. А председательствовал старичок с морщинистым обезьяньим лицом и усталым глухим голосом, но зоркий и пронзительный; слушал он внимательно, говорил не сурово, но с бесстрастным спокойствием, которое даже пугало. В нем чувствовалась редкостная рассудительность человека, чуждого иллюзий касательно человеческой природы. Без сомнения, он давно понял, что человек способен на любую гнусность, и принял это как нечто вполне естественное, как то, что у него две руки и две ноги. Когда суд удалился на совещание, мы, журналисты, вышли поболтать, выпить по чашке кофе. Все мы надеялись, что приговор вынесут быстро, ведь было уже поздно, а нам хотелось успеть дать материал в номер. Мы не сомневались, что Берже признают виновным. Бывая на процессах об убийствах, я заметил одну особенность – как непохоже впечатление, которое получаешь, сидя в суде, на то, которое выносишь из газетных отчетов. Когда читаешь те или иные показания обвиняемого, они кажутся не слишком убедительными, а когда присутствуешь при слушании дела, начинаешь сомневаться в его вине. За

рамками отчета остается атмосфера, царящая в суде, чувство, владеющее всеми присутствующими, и оттого показания предстают в ином свете. Прошел час, и вот нам сказали, что суд вынес приговор, все опять потянулись в зал заседаний. Из камеры привели Берже, мы все встали, один за другим показали судьи. В переполненном помещении вспыхнул свет, что-то было в этом зловещее. Пробрала дрожь дурного предчувствия. Ты бывал когда-нибудь в Олд-Бейли?

– Нет, по правде говоря, не был, – сказал Чарли.

– Я, когда в Лондоне, часто туда хожу. Самое место, чтобы изучать человеческую натуру. В Олд-Бейли возникает иное чувство, чем во французском суде, который произвел на меня совсем особое впечатление. Сам не знаю почему. В Олд-Бейли арестанту противостоит его величество закон. Он имеет дело с чем-то безликим, с отвлеченным Правосудием. В сущности, с отвлеченным понятием. И само по себе это чудовищно. Но во французском суде за те два дня, что я там провел, меня одолело другое чувство, мне не казалось, будто там все пронизано какой-то возвышенной идеей, я чувствовал что закон – это механизм, помогающий буржуазному обществу защитить себя, свое имущество, свои привилегии от преступника, который на них покушается. Я не хочу сказать, будто суд несправедлив или приговор непропорционален но чувствуется, будто там правит не столько принцип, которым не следует поступаться, сколько общество, которое испугалось и оттого пришло в негодование. Заключение противостоит людям, которые хотят себя оберечь, а не как у нас, некоей свято чтимой идее. Это было не столько чудовищно, сколько страшно. Приговор гласил: виновен в убийстве со смягчающими вину обстоятельствами.

– Какие же это были обстоятельства?

– Да никаких не было, но французские судьи не любят приговаривать человека к смерти, а по французскому закону, когда есть смягчающие обстоятельства, смертный приговор вынести нельзя. Берже отделался пятнадцатью годами каторжных работ.

Саймон взглянул на часы и поднялся.

– Мне надо идти. Я дам тебе свои материалы о процессе, можешь почитать на досуге. И вот посмотри, это моя статья о преступлении как одном из видов спорта. Я показывал ее твоей подружке, но, по-моему, ей не больно понравилось. Во всяком случае, она вернула статью без единого слова. Как опыт язвительного юмора это недурно.

Чарли не хотелось читать статью Саймона при Лидии, и потому, когда он расстался с другом, он пошел в Дом Инвалидов, заказал чашку кофе и, усевшись поудобней, погрузился в чтение. Он рад был прочесть связный отчет об убийстве и процессе, так как отрывочные рассказы Лидии его несколько сбили с толку. Она рассказывала ему то об одном, то о другом, не по ходу событий, а как диктовало ей чувство. В трех больших статьях Саймона все изложено было связно, последовательно, некоторые подробности Чарли уже знал от Лидии, другие ему были внове, но Саймону удалось восстановить четкую канву, по которой было легко следовать. Он писал почти как говорил, в беглом журналистском стиле, но сумел весьма наглядно представить фон, на котором разворачивались описываемые события. Гнетущее впечатление оставлял гнусный, полный превратностей мир, в котором живут темной, опасной жизнью все эти гангстеры, торговцы наркотиками, букмекеры и ипподромные жучки. Отбросы большого города, они существуют на сомнительные доходы, не доверяют друг другу, готовы ради выгоды продать лучшего друга и притом щедры, общительны, весело циничны, даже добродушны и, похоже, наслаждаются таким существованием со всеми его опасностями и злоключениями, которые поддерживают их в хорошей форме и дают почувствовать, что они живут полной жизнью. В этом мире все против всех, но неизбежная при этом настороженность пьянит и возбуждает. Там стреляют друг в друга из-за сущего пустяка, но с такой же готовностью несут угодившему в больницу приятелю цветы и фрукты, выложив за них последние деньги. Атмосфера эта, довольно искусно воссозданная Саймоном в его отчете, вселила в Чарли странную тревогу. Мир, который знал он, знал только его спокойную, счастливую внешнюю сторону, был точно красивое озеро, в котором отражаются рассеянные облака и ветлы, растущие по берегам, где катаются в байдарках беспечные юнцы, а их подружки опускают пальцы в теплую воду. Страшно подумать, что чуть глубже под зеркальной гладью зловещие водоросли протягивают щупальца, чтобы ухватить тебя и опутать, и всевозможные диковинные чудовища, ядовитые змеи, рыбы со смертоносными челюстями беспрестанно тайно воюют меж собой. По иным словечкам в этих статьях у Чарли создалось впечатление, что Саймон заморожено всматривается в таинственные глубины, и он спрашивал себя, только ли любопытство или какое-то

пугающее влечение побуждало Саймона равнодушно и снисходительно наблюдать за проходимцами и негодяями.

В этом мире Робер Берже чувствовал себя в своей стихии. Принадлежа к более привилегированному сословию и более образованный, чем почти все здесь, он пользовался известным авторитетом. Его обаяние, непринужденность и положение в обществе привлекали к нему его сотоварищей, но и заставляли держаться начеку. Они знали, что ему нельзя доверять, но, как ни странно, у них было превратное представление, что раз он *garçon de bonne famille* (юноша из хорошей семьи – фр.), сын почтенных родителей, значит, таким он и должен быть. Действовал он по большей части один, без сообщников, и о своих делах помалкивал. Вся эта публика догадывалась, что он их презирает, но они невольно восхищались, что он ходит на концерты и рассказывает об услышанном пылко и, похоже, со знанием дела. Они не понимали, что в их компании он чувствовал себя на редкость легко и свободно. В доме матери, среди ее друзей ему было одиноко и не по себе; его раздражала бездеятельность добропорядочного существования. После того как его судили за кражу автомобиля он как-то сказал Жожо в редкую минуту откровенности:

«Теперь мне незачем больше притворяться. Вот был бы жив мой отец, он бы выгнал меня из дому, и тогда я волен был бы жить как хочу. Ну а бросить мать я ведь не могу. Кроме меня у нее ничего и никого».

«Преступление – штука невыгодная», – сказал Жожо.

«Похоже, ты на нем неплохо наживаешься, – со смехом возразил Робер.– Но суть не в деньгах. Суть в другом – это встряска, испытываешь свою силу. Все равно как нырять с большой высоты. Кажется, вода страшно далеко, но ты прыгаешь, а когда выныриваешь, черт возьми, чувствуешь себя молодцом».

Чарли сунул в карман газетные вырезки и, чуть нахмурясь от усилия собрать воедино все, что узнал о Робере Берже, попытался окончательно представить, что же это за человек. Проще всего сказать, это ничтожество, дрянь, и слава Богу, что общество от него избавилось; справедливо, конечно, но слишком простое, слишком огульное суждение, на нем не успокоишься; Чарли пришло на ум, что люди, должно быть, сложнее, чем он воображал, и если просто сказать, что человек такой или сякой, этого еще совсем недостаточно. Вот страсть Робера к музыке, особенно к русской музыке, что, на беду для Лидии, свела этих двоих. Чарли и сам очень любил музыку. Музыка дарила ему радость, наслаждение, отчасти чувственное, отчасти интеллектуальное, захлестывала и опьяняла красотой звуков, но это не мешало ему трезво оценивать мастерство, с каким

композитор воплощал свою идею. Быть может, впервые в жизни он заглядывал в себя, пытаясь понять, что же доподлинно он ощущает, когда слушает какую-нибудь прекрасную симфонию, и ему казалось, его охватывает множество чувств – волнение и в то же время покой, любовь к людям, готовность что-то для них сделать, желание быть хорошим, восхищение добром, приятная истома и странная отрешенность, словно от парит над миром, и чтобы там не происходило, не так уж это и важно; и, быть может, если бы собрать воедино все эти чувства и назвать целое по имени, имя ему будет счастье. Ну, а Робер Берже, что испытывает он, когда слушает музыку? Явно ничего похожего. Или это несправедливо – думать, что в таком вот Берже музыка будит только чувства низкие и никчемные? А разве не может быть, что музыка его освобождает от власти дьявола, от дьявола, который много сильнее его самого, так что он не может ни избавиться, ни даже захотеть избавиться от жажды, влекущей его к преступлению, ибо в преступлении проявляет себя его извращенная натура, и, противоборствуя силам закона и порядка, он утверждает свою личность, – разве не может быть, что в музыке он обретает покой от этой движущей им силы, недолго отдыхает в чудесном согласии с миром, и в просвете между тучами ему видятся любовь и добро?

Чарли знал, что значит быть влюбленным. Знал, что, когда влюблен, люди становятся тебе милы, ради любимой ты готов на все, даже и помыслить не можешь причинить ей боль и не устаешь удивляться, что же она в тебе нашла, ведь она, конечно, чудо, а ты, если честен с собою, должен признать, что не стоишь ее мизинца. И если он сам так чувствовал, думалось Чарли, значит, и все остальные чувствуют так, не исключая и Робера Берже. Нет сомнений, он страстно любил Лидию, но если любовь наполняла его... тут Чарли споткнулся о слово, которое пришло ему на ум, едва не покраснел от смущения... ну да ладно, наполняла его святостью, тогда как же он мог совершать омерзительные, ужасные преступления. Значит, в нем два человека. Чарли был озадачен, да это и не удивительно в его двадцать три года, ведь люди и старше и мудрее не в состоянии понять, как негодяй, подобно святому, может любить чистой, бескорыстной любовью. И возможно ли, чтобы даже теперь Лидия любила его преданной, всепрощающей любовью? Зная, какое ее муж ничтожество.

– Человеческую натуру не так-то легко понять, – пробормотал Чарли.

Сам того не ведая, он сказал золотые слова.

Но когда он подумал, какой силы любовь владеет Лидией, какой любовью вызван каждый ее поступок, рождена каждая мысль, ему пришло на ум, что любовь подобна симфоническому сопровождению, что сообщает

глубину и значимость мелодии – ее повседневной жизни, он невольно отпрянул в благоговейном ужасе, как испуганный и зачарованный отпрянул бы при виде лесного пожара или буйно разлившейся реки. Не укладывалось это в его жизненный опыт. Рядом с такой любовью его влюбленность всего лишь легкий флирт, и чувство, что время от времени придавало очарование и веселье его довольно однообразной жизни, не более чем мальчишеская сентиментальность. Просто непостижимо, как умещается в этой заурядной, невзрачной маленькой женщине страсть такого накала. Ощущаешь ее не только в том, что Лидия говорила, но и, так сказать, чутьем в ее отчужденности, в том, что, несмотря на все доверие, с каким она к тебе отнеслась, она держит тебя на расстоянии; читаешь эту страсть в глубине прозрачных глаз Лидии, в пренебрежительной складке губ, когда она не знает, что на нее смотрят, слышишь в ее звучном певучем голосе. Любовь Лидии совсем не походила на знакомые Чарли цивилизованные чувства, было в ней что-то жуткое, отталкивающее, и, несмотря на высокие каблучки и шелковые чулки, жакет и юбку, Лидия казалась не современной женщиной, а дикаркой с первобытными инстинктами, в темных глубинах ее души затаилось обезьяноподобное существо, пращур человека.

– Господи! Во что же это я ввязался?-вырвалось у Чарли.

Он обратился к статье Саймона. Саймон явно поработал над ней, стиль статьи был куда отточенней, чем в его отчетах о суде. Она была пронизана иронией, написана без предубеждения, но за этой непредубежденностью чувствовалось тревожное любопытство, с каким он рассматривал характер человека, которого не обуздывали ни сомнения, ни страх перед последствиями его поступков. То было небольшое талантливое эссе, но такое бесчувственное, что даже становилось не по себе. Стараясь выжать все, что только можно, из оригинальной темы, Саймон забыл, что речь-то о живых людях и их чувствах; и если, читая, ты улыбался, – а эссе не лишено было горького остроумия, то улыбка выходила болезненная. Оказалось, Саймон каким-то образом ухитрился посетить домик в Нейи, и чтобы дать представление об обстановке, в которой жил Берже, с едким юмором описал безвкусную, душную и претенциозную комнату, куда его ввели. В обстановке гостиной смешались предметы двух разных гарнитуров, одни – в стиле Людовика Пятнадцатого, другие – в стиле ампир. Одни резного дерева с позолотой и обиты голубым шелком в розовых точках; другие – желтым атласом. Посреди комнаты стол искусной резьбы с мраморной столешницей. Оба гарнитура, должно быть, сработаны в какой-нибудь из мастерских стильной мебели, расположенных на бульваре Сент-Антуан, и

куплены на аукционе, когда первоначальные владельцы захотели от них избавиться. При двух диванах и множестве стульев там приходилось двигаться с осторожностью, и куда бы ни сел, сидеть было неудобно. На стенах большие, писанные маслом картины в тяжелых золоченых рамах, вероятно, купленные на аукционе, благо по дешевке.

Прокурор весьма правдоподобно воссоздал историю преступления. Джордан явно был неравнодушен к Роберу Берже. Тому доказательство обеда, которыми Джордан его угощал, победители на скачках, которых он ему загодя называл, и деньги, которыми его ссужал. Наконец Берже согласился прийти к нему домой, и чтобы их совместный уход из бара не привлек внимания, они уговорились выйти врозь, сперва один, а через несколько минут другой. Потом, как и было условлено, они встретились, и в квартиру Джордана несомненно вошли вместе – ведь консьержка показывала, что в тот вечер она не впускала никого, кто бы спрашивал Джордана. Жил он на первом этаже. Берже, не снимая новых элегантных перчаток, сел и закурил, а Джордан достал виски, содовую, принес из кухоньки кекс. Пиджак он снял, такие, как он, дома обычно не ходят при полном параде. Поставил пластинку. Патефон был старомодный, дешевый, без автоматической смены пластинок, и в ту самую минуту, когда он ставил другую пластинку, Берже подошел сзади, словно желая посмотреть, что это за пластинка, и вонзил ему в спину нож. Заявление защитника, будто Берже не мог нанести удар той силы, какую показало вскрытие трупа, суцая нелепость. Берже очень крепкий, жилистый. Люди, знавшие его в те времена, когда он играл в теннис, свидетельствуют, что он славился силой удара справа. Классным теннисистом он не стал не из-за его физических данных, а из-за некоей психологической уязвимости, ослабляющей волю к победе.

Саймон был согласен с точкой зрения прокурора. Считал, что обвинение изложило факты вполне точно и причина, по которой Джордан пригласил к себе молодого человека, указана правильно, но был убежден, что неверно полагать, будто Берже убил Джордана из-за денег, которыми он разжился в тот день. Прежде всего покупка перчаток показывает, что он задумал убить Джордана, еще не зная, что у того к вечеру окажется необычно крупная сумма. Хотя этих денег так и не нашли, Саймон все равно не сомневался, что Берже их взял, но просто заодно; как было не взять, когда они оказались под рукой, однако не ради них он убил Джордана. Полиция заявляла, что Берже украл от пятидесяти до шестидесяти автомобилей; и ни один даже попытался продать; через несколько часов, самое большее через несколько дней просто бросал их на

улице. Он похищал машину, когда она бывала ему нужна, но еще того больше из желания испытать свою смелость и находчивость. Обкрадывая женщин с помощью своей нехитрой уловки, он не очень мог с этого разжиться; скорее то были розыгрыши, которые потрафляли его чувству юмора. Тут требовалось обаяние, и ему нравилось пускать его в ход. Он посмеивался, представляя онемевших, ошарашенных женщин, когда бросал их посреди безлюдных улиц, а сам уносился прочь. Короче говоря, то был своего рода спорт, и при каждой удаче Берже исполнялся самодовольства, словно, играя в теннис, благодаря ловкой свече или укороченному удару выиграл у противника очко. Успех придавал ему уверенность. Риск, необходимость хладнокровия, умение мигом принимать решения, когда уже кажется, тебя вот-вот разоблачат, привлекали его куда сильнее больших денег, ради которых он связался с контрабандой наркотиков. Эти его забавы были сродни скалолазанию: требовалась уверенность в каждом шаге, присутствие духа; жизнь зависела от твоего мужества, силы, от врожденного чутья; но когда преодолены все трудности и цель достигнута, как замечательно после безмерного напряжения почувствовать, что все уже позади, и как пьянит ощущение победы. Для Берже, при его скромном достатке, комиссионные, получаемые от букмекера, на которого он работал, были, разумеется, далеко не мелочью, но платил тот понемножку, а Берже все растратил, когда возил Лидию по ночным клубам да на экскурсии и загородные прогулки или прокутил с приятелями в баре Жожо. К тому времени, как его уличили, у него не осталось ни гроша; уличили же его по чистой случайности; он придумал такой хитрый способ обжуливать того букмекера, что это могло сходить ему с рук бесконечно. И опять получалось, что преступление он совершил не столько ради денег, сколько для забавы. Он вполне откровенно признался адвокату, что не мог устоять перед соблазном одурачить своего нанимателя, слишком уж большим умником тот себя воображал.

Но к тому времени, осуществляя свой план, Робер Берже сочувствовал, что ему уже не доставляют удовольствия мелкие беззакония, продолжал Саймон. Когда-то, за одно из первых попав в тюрьму, в ожидании суда, он свел там дружбу со старым каторжником, и восторженно заслушивался его рассказами. То был вор-домушник, охотник за драгоценностями, и иные его подвиги на этом составили увлекательнейшую повесть. Прежде всего он избирал жертву, потом терпеливо наблюдал за ней, прослеживал ее привычки, тщательно изучал дом и все вокруг; надо было разведать не только где хранятся драгоценности и как войти в дом, но и как в случае чего мигом оттуда улизнуть; а уж когда тебе все известно, подолгу ждешь

удобного случая. Задумаешь присвоить драгоценности, а покуда улучишь минуту цапнуть добычу проходят месяцы. Неизбежность долгого ожидания отталкивала Берже; ему хватало отваги, и ловкости, и присутствия духа, но нипочем не хватило бы терпенья, которое требовалось для сложной подготовки к ограблению.

Саймон уподоблял Робера Берже охотнику на куропаток и фазанов, которому за много лет наскучило искусство стрелять мелкую дичь, вот он и возжаждал заняться охотой, которая сопряжена с опасностью, и занялся крупной дичью. Никому не ведомо, когда Робером Берже завладела мысль об убийстве, но можно предположить, что она крепла у него постепенно. Точно художник, обремененный замыслом, что зреет в его душе и ищет выхода, который не будет знать покоя до тех пор, пока не освободится от своего бремени, Берже чувствовал, что, совершив убийство, он наконец состоится. До предела выразив таким образом свою личность, он успокоится и тогда сможет зажить с Лидией размеренной и благопристойной жизнью. Его инстинкты будут удовлетворены. Он понимал, преступление это чудовищное, понимал, что рискует головой, но как раз чудовищность и соблазняла его, а риск делал преступление таким привлекательным.

Дочитав до этого места, Чарли отложил статью. И подумал, что, право же, Саймон уж слишком расфантазировался. Можно представить, что человек убивает в минуту неукротимой ярости, но, как ни старайся, не вообразишь того, кто совершает убийство – причем даже не ради денег, но, по версии Саймона, из чисто спортивного интереса – потому что жаждет, кого-то убив, утвердить самого себя. Неужели Саймон и вправду верил в эту свою теорию или просто думал, что так статья произведет большее впечатление. Чарли принялся читать дальше, хотя его красивое лицо оставалось хмурым.

Если бы обстоятельства не предназначили Джордана в жертву, писал далее Саймон, вероятно, Робер Берже просто потешил бы себя таким замыслом да и успокоился. Наверно, не раз, выпивая с кем-нибудь из приятелей, он подумывал, не прикончить ли собутыльника, и отбрасывал эту мысль – слишком трудно было ее осуществить или слишком велика опасность разоблачения. Но когда случай свел его с Тедди Джорданом, он, должно быть, почувствовал, вот подходящая жертва! Джордан иностранец, у него тьма знакомых, но близких друзей нет, и живет он один в глухом закоулке. Он мошенник, связан с торговлей наркотиками, и если однажды его найдут мертвым, полиция скорее всего предположит, что он убит в какой-нибудь сваре между гангстерами. Если полиция и не знает о его

сексуальных вкусах, то наверняка узнает после его смерти и вполне вероятно, предположит, что его убил какой-нибудь бандюга, который захотел получить с него больше денег, чем Джордан намерен был дать. Бандитов, вымогателей, торговцев наркотиками и прочих темных личностей, которые могли разделаться с убитым, великое множество, и полиция не будет знать, куда кидаться, и во всяком случае он нежелательная личность, иностранец и совсем не плохо, что он больше не будет путаться под ногами. Поведут расследование и, если вскорости ничего не выяснят, преспокойно поставят на нем крест. Берже понял, что Джордан положил на него глаз, и стал играть с ним, как удильщик с форелью. Назначал свидания и не приходил. Вроде бы давал обещания и не исполнял их. Если Джордан, заподозрив, что Берже водит его за нос, грозил с ним порвать, тот пускал в ход свое обаяние, чтобы вынудить Джордана набраться терпенья. Джордан думал, это он преследует Берже, а тот убегает. А Берже втихомолку над ним потешался. Он выслеживал Джордана, как охотник изо дня в день выслеживает в джунглях пугливого и осторожного зверя и поджидает своего часа, зная, что несмотря на все свое чутье и опаску животное в конце концов попадет к нему в руки. Берже вовсе не чувствовал к Джордану враждебности, не питал к нему ни приязни, ни неприязни и потому без помех наслаждался охотой. Когда наконец дело было сделано и маленький букмекер мертвый лежал у его ног, не испытал он ни страха, ни угрызений совести, но лишь самозабвенный восторг.

Чарли дочитал эссе. И дрожь его пробрала. Он не знал больше его ужасало – бездушие и жестокое вероломство Берже или то, как невозмутимо, со вкусом описывал Саймон работу извращенного и порочного ума убийцы Правда, описанное – плод его воображения, но как же страшны его собственные инстинкты, если он со вкусом заглядывает в эти мерзкие тайники? Саймон наклонился, вглядываясь в душу Берже, как можно наклониться над краем устрашающей бездны, и похоже, увиденное вызвало в нем зависть. Чарли не понимал, откуда у него сложилось впечатление, что, когда Саймон писал, он спрашивал себя, а достало ли бы ему, Саймону Фенимору, бесстрашия и дерзости для такого ужасного, жестокого и бессмысленного шага – ведь ни в тщательно отделанных фразах, ни в отдающей легкомыслием иронии это никак не ощущалось. Чарли вздохнул.

«Я знаю Саймона почти пятнадцать лет. Мне казалось, я его знаю как облупленного. А теперь мне кажется, я совсем его не знаю».

И тут он радостно улыбнулся. Есть у него отец, мать, Пэтси. Завтра,

усталые от заполненных весельем и смехом дней, они, должно быть, уедут от Терри-Мейсонов и с радостью вернутся в свой красивый, артистичный и уютный дом.

«Они, слава Богу, обыкновенные порядочные люди. С ними знаешь, на каком ты свете».

Его вдруг захлестнуло волной любви к ним. Но уже поздно; вот-вот вернется Лидия. Чарли не хотел, чтобы она ждала одна в этой убогой комнате, ей будет одиноко, бедняжке; он сунул эссе в карман вместе с другими вырезками и зашагал к гостинице. Он зря беспокоился. Лидия еще не пришла. Чарли взял «Мэнсфилд-парк», который вместе с томиком стихов Блейка только и прихватил с собой, и принялся читать. Чудесно оказаться в обществе воспитанных людей, и хотя их отделяло от него более сотни лет, они казались живыми, как любой, кого встречаешь сегодня. Была в их упорядоченной жизни изящная непринужденность, и горести, от которых они страдали, были не столь серьезны, чтобы из-за них расстраиваться. Правда, Золушка – ужасная маленькая резонерка, а Сказочный принц – несносный педант; правда, поневоле захочешь, чтобы она не отдавала свое добродетельное сердечко этому чопорному глупцу, а приняла предложение обаятельного и остроумного негодяя; и все же снисходительно миришься с намерением Джейн Остен вознаградить здравый смысл и наказывать легкомыслие. Ничто не может притупить остроту наслаждения, которое испытываешь от ее мягкой иронии и язвительного юмора. Книга отвлекла мысли Чарли от истории порока и преступления, в которую он оказался так странно вовлечен. Из запущенной, унылой комнаты он мысленно перенесся на зеленую лужайку и приятным летним вечером сидел там под огромным кедром; а с лугов за парком доносился аромат скошенной травы. Но Чарли почувствовал, что проголодался, и взглянул на часы. Половина девятого. Лидия еще не вернулась. Быть может, она и не намерена возвращаться? Не очень-то было бы мило вот так его оставить, ничего не объяснив, не сказав ни словечка на прощанье, при мысли об этом он даже рассердился, но потом пожал плечами.

«Не хочет возвращаться, ну и пусть ее».

Чего ради ее ждать? И он отправился ужинать, предупредив портье, где он будет, чтобы Лидия могла присоединиться к нему, если придет. Он сам не знал, льстило ли ему, забавляло или раздражало, что персонал гостиницы обходился с ним с некоей доверительной фамильярностью, словно его интрижка – а что у него интрижка, они, конечно, не сомневались, – им тоже доставляла удовольствие. Портье благосклонно улыбался, а молоденькая кассирша была исполнена взволнованного

любопытства. Чарли усмехнулся при мысли, как бы они изумились, узнай они, сколь невинны его отношения с Лидией. Он поужинал в одиночестве и вернулся, а она все еще не пришла. Он поднялся к себе в номер и опять раскрыл книгу, но теперь плохо удавалось сосредоточиться. Если к двенадцати она не вернется, решил он, он махнет на нее рукой и пустится в загул. Это же нелепо, провести в Париже чуть не неделю и не развлечься. Но в самом начале двенадцатого Лидия отворила дверь и вошла, при ней был изрядно потертый чемоданчик.

– Ох, устала,– сказала Лидия.– Я прихватила с собой кое-что из вещей. Сейчас вымоюсь, и пойдём ужинать.

– Вы не ужинали? А я уже.

– Уже?

Она, похоже, удивилась.

– Сейчас половина двенадцатого.

Лидия рассмеялась.

– До чего же вы англичанин! Вам необходимо ужинать всегда в одно и то же время?

– Я проголодался,– суховато ответил Чарли.

Ему казалось, не худо бы ей извиниться, что она заставила его так долго ждать. Но ей, конечно же, это и в голову не пришло.

– Ну, да ладно, не важно. Не нужен мне никакой ужин. Ну и денек у меня выдался! Алексей был пьян, поругался с Полем, потому что Поль не ночевал дома, и Поль сбил его с ног. Евгения плакала и все повторяла: «Господь нас наказывает за наши грехи. До чего я дожила – мой сын ударил своего отца. Что с нами со всеми будет?» Алексей тоже плакал. «Всему конец,– сказал он.– Дети больше не уважают родителей. Ох, Россия, Россия!»

Чарли подмывало засмеяться, но он видел, что для Лидии все это очень серьезно.

– И вы тоже плакали?

– А как же,– с холодком в голосе ответила она.

Она переделалась, была сейчас в черном шелковом платье, довольно простом, но хорошо сшитом. Платье ей шло. В этом платье ее светлая кожа казалась еще нежней и глаза еще голубее. А черная, довольно кокетливая шляпка с пером была ей куда больше к лицу, чем старая фетровая. Изящный наряд наложил на нее отпечаток – она выглядела элегантней и держалась с изящной уверенностью. Теперь она походила уже не на продавщицу, но на молодую женщину из более почтенной среды, и такой хорошенькой Чарли ее еще не видел, однако сейчас еще ясней было, что с

ней, так сказать, кашу не сваришь, если раньше она выглядела добропорядочной работницей, которая умеет за себя постоять, теперь, казалось, эта модная молодая женщина вполне способна поставить на место не в меру предприимчивого молодого человека.

– На вас другое платье,– сказал Чарли, он уже почти справился со своим дурным настроением.

– Да, единственное мое нарядное платье. Я подумала, что вам, должно быть, совестно появляться на людях с такой замухрышкой. Уж если красивый, хорошо одетый молодой человек идет в ресторан, он по меньшей мере должен быть уверен, что люди не станут недоумевать, с чего это он расхаживает с неряхой в обносках прислуги? Надо же мне постараться выглядеть хоть так, чтобы вас не осрамить.

Чарли рассмеялся. Право же, есть в ней что-то очень милое.

– Ну, пойдете-ка я вас покормлю. И посижу с вами. Если я не ошибаюсь насчет вашего аппетита, вы сейчас готовы съесть быка.

И в отличном настроении они вышли из номера. Пока Лидия поглощала дюжину устриц, бифштекс и жареный картофель, Чарли пил виски с содовой и курил. Она подробнее рассказала ему о том, что увидела у своих русских друзей. Их положение ее очень тревожило. Денег нет, кроме той малости, что зарабатывают дети. Рано или поздно Полю надоест отдавать деньги родителям, и он исчезнет, окунется в подозрительную ночную жизнь Парижа, а когда потеряет молодость и красоту, кончит слугой в какой-нибудь гостинице с дурной славой, да и то если повезет. Алексей все больше спивается, и даже если ему случайно подвернется работа, он на ней не удержится. У Евгении больше не хватает мужества справляться с бесконечными трудностями, она отчаялась. Им всем не на что надеяться.

– Понимаете, они покинули Россию двадцать лет назад. Долгое время они думали, что там все переменится и они вернуться, но теперь понимают, что на это рассчитывать нечего. Революция тяжело ударила по таким людям; теперь им и всему их поколению только и остается умереть.

Но тут Лидия догадалась, что вряд ли ее слушателю так уж интересны люди, которых он в глаза не видал. Откуда ей было знать, что пока она рассказывала ему о своих друзьях, он внутренне поеживался от мысли, что, если он правильно понимает Саймона, как раз такую судьбу тот и готовит ему, его родителям, сестре и их друзьям. Лидия заговорила о другом.

– Чем же вы занимались сегодня? Пошли посмотрели какие-нибудь картины?

– Нет. Я ходил к Саймону.

Лидия смотрела на него со снисходительным интересом, но, услышав его ответ, нахмурилась.

– Не нравится мне ваш приятель Саймон,— сказала она.— Что вы в нем находите?

– Я его знаю с детства. Мы вместе учились в школе, и в Кембридже тоже. Он всегда был моим другом. Чем он вам не нравится?

– Холодный он, расчетливый, бесчеловечный.

– Думаю, вы неправы. Я как никто знаю, что он способен горячо любить. Он очень одинок. Думаю, он тоскует по любви, но ни в ком ее не встречает.

В глазах Лидии сверкнул насмешливый огонек, но, как обычно, не лишенный печали.

– Вы чересчур сентиментальны. Как можно надеяться вызвать в ком-нибудь любовь, если не готов отдать себя? Хотя вы и знаете его столько лет, вряд ли вы знаете его так же хорошо, как я. Он много времени проводит в S rail; девушку он выбирает редко, да и то не от желания, а из любопытства. Мадам его привечает отчасти потому, что он журналист, а она хочет ладить с прессой, и еще потому, что иногда он приводит иностранцев, а они пьют много шампанского. Ему нравится с нами разговаривать, и ему не приходит в голову, что он нам мерзок.

– Имейте в виду, знай он об этом, он бы не обиделся. Просто любопытствовал бы почему. Он не самолюбив.

Лидия продолжала, будто и не слышала Чарли:

– Он едва ли считает нас за людей, он нас презирает и все же ищет нашего общества. С нами он не стесняется. По-моему, он считает, мы пали так низко, что он может быть самим собой, а перед всем прочим миром надо всегда появляться в маске. Он на удивленье нечуткий. Думает, с нами можно позволить себе что угодно, задает нам вопросы, от которых нам стыдно, и совершенно не понимает, как больно он нас ранит.

Чарли молчал. Он отлично знал, что Саймон, при его ненасытном любопытстве, мог отчаянно смутить человека, а когда его вопросы возмущали людей, он лишь удивлялся и презирал их. Он-то был не прочь обнажить душу, и ему было невдомек, что сдержанность других людей вызвана не тупостью, как он воображал, а скромностью.

– И однако, он способен на такое, чего от него никак не ждешь,— продолжала Лидия.— Одна наша девушка вдруг заболела. Доктор сказал, что нужна немедленная операция, и Саймон сам отвез ее в частную лечебницу, чтобы ей не пришлось лечь в больницу для бедных, и заплатил за операцию, а потом устроил ее еще и в санаторий и тоже за это

заплатил. А ведь он даже никогда с ней не спал.

– Меня это не удивляет. Деньги для него ничто. Так или иначе это показывает, что он может быть бескорыстным.

– А вам не кажется, что он хотел проверить на себе, что же это за чувство такое доброта?

Чарли засмеялся.

– Я вижу, вы не больно жалуете беднягу Саймона.

– Он много со мной разговаривал. Хотел, чтобы я рассказала все, что знаю про русскую революцию, и свела бы его к Алексею и Евгении, хотел и их расспросить. Он ведь писал отчеты о суде над Робером. Пытался выудить из меня побольше подробностей. Он и спал-то со мной, потому что думал побольше от меня узнать. Он написал об этом статью. Вся та боль, весь ужас и позор были для него только поводом выстроить в ряд громкие, ничего не значащие слова. И он дал мне прочесть, ему любопытно было, как я отнесусь к его писанине. Никогда ему не прощу. Никогда.

Чарли вздохнул. Он понимал, что Саймон, с его поразительным безразличием к чувствам других людей, показал Лидии свое безжалостное эссе вовсе не из желания ее ранить, он вполне искренне хотел посмотреть, как она к нему отнесется, и узнать, насколько ее сокровенное знание подтвердит его измышления.

– Саймон странное существо, – сказал Чарли. – Сказать по правде, у него немало таких свойств, которые мне не по душе, но есть у него и замечательные качества. Одно о нем, во всяком случае, можно сказать: он не щадит не только других, но и себя. Мы не виделись два года, он сильно изменился за это время, но, должен признаться, он личность незаурядная.

– Страшноватая, я бы сказала.

Чарли смущенно заерзал на плюшевом диване – к его огорчению, Саймон и ему казался страшноватым.

– Знаете, живет он удивительной жизнью. Работает по шестнадцать часов в сутки. Жилье у него неопишимо убогое и неудобное. Он приучил себя есть только один раз в день.

– А чего ради все это?

– Хочет выработать в себе более сильный и глубокий характер. Хочет научиться не зависеть от обстоятельств. Хочет подготовиться к роли, которую, как он рассчитывает, рано или поздно будет призван сыграть.

– А что за роль, он вам не говорил?

– Только примерно.

– Вы о Дзержинском когда-нибудь слышали?

– Нет.

– Саймон мне много о нем рассказывал. Алексей в прежние времена был адвокатом, талантливым адвокатом с либеральными принципами, и на одном процессе он защищал Дзержинского. Это не помешало Дзержинскому распорядиться, чтобы Алексея арестовали как контрреволюционера и сослали на три года в Александровск. Вот одна из причин, почему Саймон так хотел, чтобы я познакомила его с Алексеем. Я отказалась, мне было бы невыносимо, если бы он увидел, как опустился этот несчастный сломленный человек, и тогда Саймон поручил мне задать Алексею разные вопросы.

– А кто такой Дзержинский? – спросил Чарли.

– Он был главой Чека. Истинный хозяин России. У него была неограниченная власть над жизнью и смертью всего населения. Он был чудовищно жесток, он посадил в тюрьму, пытал и убил тысячи и тысячи людей. Поначалу мне странно было, что Саймона интересует такая страшная личность, казалось, тот его околдовал, а потом я догадалась, в чем дело. Вот такую роль он себе и предназначил, когда произойдет революция, ради которой он старается. Он понимает, что хозяин полиции – хозяин государства.

Глаза Чарли насмешливо блеснули.

– У меня от ваших разговоров мороз по коже, дорогая. Но, знаете ли, Англия не Россия. Саймону, я думаю, придется ждать целую вечность, прежде чем он станет диктатором Англии.

Но в этом Лидия не могла стерпеть никакого легкомыслия. Она мрачно посмотрела на Чарли.

– Он готов ждать. А Ленин разве не ждал? Вы все еще думаете, будто англичане сделаны не из того же теста, что все прочие люди? Неужели вы думаете, что пролетариат, который все больше сознает свою силу, позволит классу, к которому вы принадлежите, вечно обладать всеми вашими привилегиями? Неужели вы думаете, что война, чем бы она ни кончилась, вашей победой или вашим поражением, может привести к чему-то еще, кроме величайшего социального переворота?

Политикой Чарли не интересовался. Правда, как и его отец, он придерживался либеральных взглядов, с некоторой склонностью к социалистическим идеям, при условии, что они не переходят пределов благоразумия, а под этим подразумевал, сам того не сознавая, что они не касаются его удобств и его доходов, но предпочитал, чтобы делами государства занимались те, кому положено по штату; однако не мог же он оставить без ответа вызывающие, дерзкие вопросы Лидии.

– Вы так говорите, будто мы ничего не делали для рабочих. Похоже,

вам неизвестно, что за последние пятьдесят лет условия неузнаваемо изменились. Люди работают меньше часов, чем прежде, зарабатывают больше. У них теперь лучше дома. Да вот хотя бы в наших владениях, мы стараемся побыстрей избавиться от трущоб, насколько это возможно экономически. Мы дали им пенсии по старости и обеспечиваем их, когда они без работы. Они бесплатно учатся в школе, бесплатно лечатся в больницах, а теперь мы начинаем оплачивать им отпуск. Право же, я не думаю, что британскому трудящемуся есть на что особенно жаловаться.

– Не забывайте, что благодетель и тот, кому благодетельствуют, не могут оценивать благодеяние одинаково. Неужели вы ждете, что трудящийся человек будет вам благодарен за возможности, которые он у вас вырвал под дулом пистолета? Неужели, по-вашему, он не понимает, что вы пошли ему навстречу не из великодушия, а из страха?

Чарли предпочел бы не ввязываться в политический спор, но не мог удержаться от еще одного замечания:

– Казалось бы, положение, в котором оказались вы и ваши русские друзья, не очень-то помогает верить, что власть черни великое благо.

– Это горчайшая сторона нашей трагедии. Сколько бы мы это ни отрицали, но в глубине души мы знаем: все, что с нами случилось, мы заслужили.

В словах Лидии прозвучала такая трагическая сила, что Чарли даже как-то растерялся. Трудный она человек, ни к чему не может отнестись легко. Она из тех женщин, кто за столом попросит вас передать соль, и то вам покажется, будто дело это нешуточное. Чарли вздохнул: не надо забывать, каково ей пришлось, бедняге, но неужели будущее и вправду так беспросветно?

– Расскажите мне о Дзержинском, – попросил Чарли, с заминкой произнеся трудное имя.

– Я могу только пересказать, что слышала от Алексея. Он говорит, самое поразительное в Дзержинском – сила взгляда; какой-то особый дар, бесконечно долго он мог смотреть на человека, не отводя глаз, и эти остекленевшие глаза с расширенными зрачками вселяли ужас. Он был невероятно худой – в тюрьме он заболел туберкулезом – и высокий, совсем не урод, правильные черты лица. Человек предельно целеустремленный, в этом и крылся секрет его силы, да еще холоден и сух. Не думаю, чтобы он хоть раз в жизни всей душой отдался какой-нибудь мимолетной радости. Только одно для него существовало – работа, и работал он день и ночь. В самый разгар своей карьеры он жил в крохотной комнатке, в которой только и было, что письменный стол, старая ширма, за ширмой железная койка.

Говорят, в голодный год, когда вместо конины ему приносили нормальную еду, он ее отсылал и требовал, чтобы принесли то же, что давали всем остальным сотрудникам Чека. Чека – вот чему он отдал всю свою жизнь. Не было в нем ничего человеческого, ни жалости, ни любви, только фанатизм да ненависть. Ужасен он был и неумолим.

Чарли пробрала дрожь. Нельзя было не понять, почему Лидия заговорила об этом якобинце, и, по правде сказать, страшно было подумать, как велико сходство между зловещей личностью, которую она описала, и человеком, каким, к его немалому удивлению, предстал перед ним Саймон. Тот же аскетизм, то же равнодушие к радостям жизни, та же одержимость работой и, похоже, та же безжалостность. Чарли улыбнулся своей добродушной улыбкой.

– Я думаю, у Саймона, как у всех нас, есть недостатки. К нему надо относиться терпимо, ведь жизнь у него была и не очень счастливая, и не очень легкая. Ему отчаянно не хватает человеческой привязанности, но что-то в его натуре отталкивает людей, вот его и не любят. Он невероятно уязвим, и то, на что обыкновенный человек не обратит ни малейшего внимания, его больно ранит. Но, по-моему, в душе он добр и великодушен.

– Вы в нем обманываетесь. Приписываете ему вашу доброту и бескорыстное внимание к людям. Говорю вам, он опасен. Дзержинский был узколобый идеалист и ради своего идеала мог без колебаний обречь свою страну на гибель. Саймон еще хуже. У него нет сердца, нет совести, нет чести, и при случае он без сожаления пожертвует вами, своим лучшим другом.

Наутро они проснулись раньше обычного. Позавтракали в постели, каждый со своим подносом, а после завтрака, пока Чарли, покуривая трубку, читал «Мэйл», Лидия с сигаретой в зубах делала маникюр. Глядя на них, занятых каждый своим, можно было принять их за молодых супругов, чья первоначальная страсть перешла в спокойную дружбу. Лидия накрашила ногти и растопырила пальцы на простыне, чтобы высох лак. И бросила на Чарли лукавый взгляд.

– Вам не хочется пойти сегодня утром в Лувр? Вы ведь приехали в Париж посмотреть картины, так?

– Наверно, так.

– Тогда давайте встанем и пойдем.

Когда горничная, которая принесла кофе, раздвинула занавеси, дневной свет, проникший в комнату со двора, показался им серым и унылым, как и в предыдущие утра; а выйдя на улицу, они поразились – погода вдруг переменилась. Было еще холодно, но ярко светило солнце, и высоко в небе плыли сияющие облака. Воздух морозно пощипывал, и это бодрило.

– Пойдемте пешком, – предложила Лидия.

В веселом живительном свете улица де Ренн уже не казалась такой запущенной, а серые ветхие дома не выглядели привычно неряшливыми и мрачными, но источали мягкое дружелюбие, будто сейчас, когда неожиданное солнышко одарило их своим вниманием столь же приветливо, как и величественные новые дома на другом берегу реки, они, словно старушки в стесненных обстоятельствах, почувствовали себя не такими заброшенными. Когда Чарли и Лидия переходили через площадь Сен-Жермен-де-Пре, по которой во все стороны спешили автобусы, трамваи, неистово мчались такси, грузовики и частные автомобили, Лидия взяла Чарли под руку; и точно влюбленные или бакалейщик с супругой, вышедшие прогуляться воскресным днем, они не спеша пошли по узкой улице де Сен, то и дело останавливаясь перед витриной какого-нибудь торговца картинами. Потом вышли на набережную. Тут парижский день открылся им во всей своей зимней красе, и Чарли даже ахнул от восторга.

– Вам нравится? – улыбнулась Лидия.

– Это будто картина Рафаэля. – Ему вспомнилась строчка стихотворения, что он прочел в Туре: «Le vierge, la vivace et le bel

aujourd'hui» (как этот день прекрасен, свеж и чист – фр.).

Самый воздух искрился, хоть лови в горсть и пропускай между пальцев, словно струю фонтана. Чарли, привыкшему к туманным далям и мягкой лондонской дымке, он казался поразительно прозрачным. С изящной четкостью вырисовывались в нем здания, мост, парапет набережной, но, словно прорисованные чуткой рукой, линии были ласковые, смягченные. Ласков и цвет – неба, и блака, и камня, – цвет пастелей, какими работали художники восемнадцатого века; а обнаженные деревья, тонкие, розовато-лиловые ветви на голубом с изысканным разнообразием повторяли нежное плетение узора. Чарли не раз видел картины, на которых было изображено это самое место, и потому увиденное сейчас принял без удивления, но с любовью и пониманием узнавал; красота эта не потрясла его – она не была ему неведома, не озадачила неожиданностью, но исполнила знакомой радости, так может радоваться сельский житель, когда после долгих лет отсутствия вновь видит милую сердцу беспорядочно раскинувшуюся родную деревню.

– Ну не чудесно ли жить на свете? – воскликнул он.

– Чудесно быть молодым и таким восторженным, как вы, – сказала Лидия, слегка сжав ему руку, а если она едва сдержала слезы, Чарли этого не заметил.

Чарли хорошо знал Лувр, ведь каждый раз, когда его семья приезжала на несколько дней в Париж (чтобы Винития могла одеться у скромной портнихи, которая ничуть не уступала дорогостоящим мастерским на улицах Руаяль и Камбон), родители считали своим долгом повести туда детей. Лесли Мейсон не скрывал, что предпочитает новых художников старым.

– Но так или иначе знакомство с крупнейшими картинными галереями Европы – составная часть образования джентльмена, и если не можешь вставить словечко в разговоре о Рембрандте, Тициане и прочих, оказываешься в довольно глупом положении. И я не боюсь сказать, что лучшего гида, чем мама, вам не найти. У нее такая художественная натура, и она понимает что к чему и не будет тратить ваше время на всякую ерунду.

– Не стану утверждать, что ваш дед был великий художник, но он знал толк в живописи, – говорила миссис Мейсон не без самоуверенности человека, который безо всякого тщеславия сознает, что разбирается в своем предмете. – Это он меня научил всему, что я знаю об искусстве.

– У тебя, конечно, и у самой было на это чутье, – сказал муж.

Миссис Мейсон с минуту подумала.

– Да, пожалуй, ты прав, Лесли. У меня было чутье.

В ту пору было легче познакомиться с Лувром за недолгое время и с пользой для души, так как его еще не перестроили и большая часть картин, которые, по мнению миссис Мейсон, были достойны внимания ее детей, находились еще в Salon Carré (квадратном зале – фр.). Войдя в этот зал, они сразу же направлялись к леонардовской «Джоконде».

– Мне всегда кажется, прежде всего надо смотреть на это полотно, – говорила миссис Мейсон. – Оно создает настроение, с которым и следует ходить по Лувру.

Все четверо стояли перед картиной и почтительно взирали на безжизненную улыбку чопорной молодой женщины, изголодавшейся по плотской любви. После требуемых для созерцания мгновений тишины миссис Мейсон обернулась к мужу и детям. На глаза ее навернулись слезы.

– Нет у меня слов, не могу передать, что я всегда чувствую перед этим полотном, – со вздохом сказала она. – Леонардо был воистину Великий Художник. Я думаю, с этим все должны согласиться.

– Признаться, когда дело касается старых мастеров, я сужу отчасти как филистер, – сказал Лесли, – но в ней есть *je ne sais quoi* (нечто неизъяснимое – букв.: сам не знаю что – фр.), что задевает вас за живое, это да. Как там у Патера (Патер Уолтер Горацио (1839-1894) – английский эссеист и критик – прим.ред.), Винития? Он попал в самую точку, с этим не поспоришь.

С легкой загадочной улыбкой на губах миссис Мейсон негромко, трепетно повторила знаменитые строки, которые за два поколения до нее посеяли такую смуту среди молодых эстетов.

– «Все тернии мира на ее челе, и полуопущены слегка усталые веки. Это сама красота во плоти, извлеченная из души, сотворенная толика за толикой сокровищница неведомых дум, причудливых мечтаний, утонченных страстей».

В благоговейном молчании слушали они ее. А она, договорив, весело сказала обычным голосом:

– А теперь идемте смотреть Рафаэля.

Но невозможно было пройти мимо двух больших полотен Паоло Веронезе, повешенных друг против друга на противоположных стенах.

– Стоит и на них глянуть, – сказала миссис Мейсон. – Ваш дед ставил их очень высоко. Веронезе, конечно, не отличается ни тонкостью, ни глубиной. Нет в нем души. Но у него бесспорно был дар композиции, и запомните, он лучше всех умеет гармонично и естественно расположить на полотне такое множество фигур. Тут следует восхищаться если не чем иным, то во всяком случае поистине могучей силой, которой он должен был обладать, чтобы писать такие огромные полотна. Но, по-моему, в них

есть и нечто большее. Они дают ясное представление об изобильной, многокрасочной жизни того времени, о языческом, пронизанном любовью к земным уладам духе патрицианской Венеции в зените славы.

– Я часто пытался сосчитать, сколько фигур на картине «Брак в Кане», но всякий раз получалось другое число,– сказал Лесли Мейсон.

Все четверо принялись считать, но в счете так и не сошлись. Потом они направились в Большую галерею.

– А вот «L'Homme au Gant» («Молодой человек с перчаткой» – фр.),– сказала миссис Мейсон. – Это неплохо, что вы сперва посмотрели Веронезе, после его картин особенно видны достоинства Тициана. Помните, я говорила, у Веронезе нет души. Так вот, стоит глянуть на «L'Homme au Gant» и станет ясно, что у Тициана душа-то есть.

– Живительный старый хрыч был этот Тициан – сказал Лесли Мейсон.–Дожил до девяноста девяти лет, да понадобилась чума, чтобы его убить.

Миссис Мейсон чуть улыбнулась.

– Могу вас уверить, никто никогда не написал портрета лучше этого,– сказала она.– Никогда с ним не сравнятся портретам Сезанна или даже Мане.

– Надо не забыть показать им Мане, Винития.

– Да нет, не забудем. Сейчас туда и пойдем. Но я что хочу сказать, надо принимать манеру выражения, которая существовала в живописи в ту пору, и если помнить об этом, я думаю, каждый согласится, что это шедевр. Разумеется, картина и сама по себе выше всяких похвал, но есть в ней еще и редкостное своеобразие и выразительность. Правда, Лесли?

– Несомненно.

– В юности я стояла перед ней часами. Эта картина погружает вас в мечты. На мой взгляд, этот портрет изысканней «Папы» Веласкеса, помнишь, того, который в Риме, он больше наводит на размышленья. Конечно же, Веласкес великий художник, и он оказал огромное влияние на Мане, но мне не хватает в нем как раз того, что есть у Тициана,– души.

Лесли Мейсон посмотрел на часы.

– Не следует тратить здесь столько времени, Винития,– сказал он.– Как бы нам не опоздать к обеду.

– Хорошо. Только пойдем посмотрим Энгра и Мане.

Они пошли, поглядывая по сторонам, на картины, висевшие на стенах, но тут не было ни одной, у которой, по мнению миссис Мейсон, стоило бы задержаться.

– Не следует загружать ум детей излишком впечатлений, это лишь

собьет их с толку,— сказала она мужу.— Куда лучше, если они сосредоточатся на том, что по-настоящему важно.

— Несомненно,— ответил он.

Они вошли в зал, но на пороге миссис Мейсон остановилась.

— Работами Пуссена сегодня заниматься не станем,— сказала она.— Они стоят того, чтобы ради них прийти в Лувр, он, конечно же, великий художник. Но чтобы его понять, надо быть знатоком живописи, а не дилетантом, и вы слишком молоды, вы еще не доросли до него. Когда вы оба немного подрастете, мы как-нибудь придем сюда и как следует его посмотрим. Понимаете, надо быть довольно искушенным человеком, чтобы оценить его по заслугам. Зал, в который мы входим, это девятнадцатый век. Но я думаю, Делакруа нам тоже не стоит смотреть. Он тоже для искушенного глаза, и навряд ли вы увидите в нем то же, что и я; просто поверьте мне на слово, он очень значительный художник. Он недурной колорист, и в нем сильна романтическая жилка. И вам, конечно же, ни к чему засорять мозги барбизонцами. В дни моей молодости ими очень восхищались, но это было еще до того, как мы стали понимать импрессионистов, а о Сезанне и Матиссе мы даже не слышали; ничего они не значат, и можно спокойно им пренебречь. Мне хочется, чтобы вы сперва посмотрели на «Одалиску» Энгра, а потом на «Олимпию» Мане. Их замечательно разместили — друг против друга, так что вы можете смотреть на обеих одновременно, сравнить их и вынести собственное суждение.

Теперь миссис Мейсон прошла в зал, муж — рядом с нею, а Чарли и Пэтси вместе следовали за ними шага на два позади. Но ее взгляд упал на «Собирательниц колосьев» Милле, и она остановилась.

— Взгляните-ка на минутку на эту картину. Не для чтобы ею восхищаться, но просто посмотрите, одно время ее ставили очень высоко. стыдно признаться, но юности она вызывала у меня слезы. Она мне казалась очень красивой и трогательной. А теперь смотрю и просто понимаю, чем она меня прельщала. Это лишь показывает как меняются оценки, когда становишься старше.

— Это еще показывает, как может ошибаться даже самый молодой из нас,— сказал Лесли с хитрой улыбкой, будто только что сам придумал эти слова.

Они отошли от Милле, и наконец Винития остановилась на том самом месте, откуда, как она полагала, ее отпрыски всего лучше смогут рассмотреть те две картины, которыми она привела их любоваться. С ликующим видом фокусника, который вынимает из шляпы кролика, она остановилась и воскликнула:

– Вот!

Несколько минут они стояли все в ряд, и миссис Мейсон в восторге созерцала двух обнаженных. Потом сказала детям:

– Теперь подойдемте ближе и как следует их разглядим.

Они остановились перед «Одалиской».

– Это бесполезно, Винития,– сказал Лесли.– Ты сочтешь меня филистером, но мне не по вкусу цвет. Тело такое же розовое, как твой крем, которым ты мазалась на ночь, пока я не положил этому конец.

– Не годится раскрывать этим невинным созданиям альковные тайны,– сказала Винития с улыбкой, и чопорной, и в то же время лукавой.– Но у меня и в мыслях не было утверждать, будто Энгр замечательный колорист, и все же, по-моему, голубой у него очень нежный, и я часто думала, что не отказалась бы от такого вечернего платья. Как ты думаешь, Пэтси, мне это было бы уже не по возрасту?

– Ну что ты, мамочка. Ничего подобного.

– Да это я так, между прочим. Но такого замечательного рисовальщика, как Энгр, пожалуй, еще не бывало. Когда смотришь на эти уверенные прелестные линии нельзя не почувствовать, что перед тобой великолепное проявление человеческого духа. Помню, отец мне рассказывал, как однажды он пришел сюда с приятелем студентом тот оказался в галерее впервые и, когда увидел «Одалиску» в такой пришел восторг от красоты линии, что буквально лишился чувств.

– По-моему, больше похоже на правду, что давно миновал час, когда разумные люди обедают, и он лишился чувств от голода.

– Ну разве не ужасный человек ваш отец? – улыбнулась миссис Мейсон.– Хорошо, Лесли, давайте еще пять минут постоим перед «Олимпией», и тогда я готова уйти.

Они направились к огромному полотну Мане.

– Когда оказываешься перед таким шедевром, только и остается молча им восхищаться,– объявила миссис Мейсон.– А дальше тишина, как сказал Гамлет. Никто, даже Ренуар, даже Эль Греко ни разу так не написали тело. Посмотрите на ее правую грудь. Это же чудо красоты. Просто дух захватывает. Даже мой бедный отец, который терпеть не мог современных художников, был вынужден признать, что грудь написана очень неплохо. Очень неплохо? Как вам это нравится? Теперь посмотрите, вы, должно быть, видите черную линию – она обрамляет фигуру. Ты ведь видишь, Чарли?

Да, он видит, отозвался Чарли.

– А ты, Пэтси?

– Вижу.

– А я не вижу! – с торжеством воскликнула она. – Раньше видела, знаю, она существует, но даю вам слово, теперь уже не вижу.

И они отправились обедать в один из тех ресторанчиков, где, как прежде обнаружили супруги Мейсон, никогда не бывают англичане. Он был ничуть не хуже тех модных ресторанов, куда ходят иностранцы, но вдвое дешевле. Теперь народу было полно, и как ни странно, за столиком справа от них оказались англичане, а слева – американцы. Напротив сидели два рослых белокурых шведа, а чуть в стороне несколько японцев. Сказать по правде, тут на каких только языках не говорили, а вот французской речи было не слышно. Лесли окинул всю эту публику неодобрительным взглядом.

– Похоже, ресторан начинает портиться, Винития.

Всем четверым вручили огромные, написанные фиолетовыми чернилами меню, вызвавшие у них некоторую растерянность. Лесли весело потер руки.

– Ну-с, с чего начнем? Я думаю, во Франции лучше следовать примеру французов, поэтому что вы скажете, если сперва примемся за улиток, а потом за лягушек?

– Не говори гадости, папа, – сказала Пэтси.

– Вот и видно твое невежество, детка. Это же величайшие деликатесы. Но я не вижу их в меню. – Лесли вечно забывал, что французское *grenouille* – это лягушка, а *saraud* – жаба или наоборот. Он посмотрел на стоящего подле него официанта и произнес с резким английским выговором: – *Gar ong, est-ce-que vous avez des sarauds?* (официант, есть у вас жабы – фр.)

Метрдотелю не очень-то нравилось, когда его называли просто официант, но он с важным видом ответил, что сейчас не сезон.

– Вот незадача, – воскликнул Лесли. – Ну, а как насчет улиток? *Escargots?*

– Папа, если ты станешь есть улиток, меня затошнит.

– Он тебя просто дразнит, милочка, – сказала миссис Мейсон. – По моему, нам лучше заказать хороший омлет. Во Франции, заказывая омлет, не прогадаешь.

– Верно, – подтвердил Лесли. – Во Франции, куда ни зайди, всюду подадут отличный омлет. Прекрасно. *Gar ong, une omelette pour quatre* (официант, омлет на четверых – фр.)

Потом, ради детей, заказали *rosbif l'anglaise* (ростбиф по-английски – фр.) После ростбифа молодежь ела ванильное мороженое, а родители сыр камамбер. В Англии он у них часто бывал, но оба согласились, что почему-

то во Франции у него совсем иной вкус. Под конец пили кофе, изрядно разбавленный цикорием, и, с удовольствием потягивая его, миссис Мейсон сказала:

– Поистине, чтобы отведать настоящего кофе, надо приехать во Францию.

Благодаря давнему знакомству со знаменитой галереей, а также полезным сведениям, почерпнутым от матери, Чарли вместе с Лидией вошел в квадратный зал, ощущая что-то вроде той уверенности, с какой ступает на корт хороший теннисист. Ему не терпелось показать Лидии свои любимые картины и объяснить, чем они его восхищают. Однако он не без удивления обнаружил, что в зале сейчас все по-другому и нет здесь «Джоконды», к которой он, конечно же, хотел подвести спутницу прежде всего. Они не пробыли здесь и десяти минут. Бывая тут с родителями, они проводили в этом зале добрый час и то, по словам матери, не успевали насладиться всеми его сокровищами. Но «L'Homme au Gant» был на прежнем месте, и Чарли осторожно подвел к нему Лидию. Некоторое время они смотрели на портрет.

– Потрясающе, да? – сказал наконец Чарли, ласково сжав ее локоть.

– Да, ничего. Но вам-то что до него?

Чарли круто повернулся к ней. Никогда еще никто не спрашивал его так о картине.

– Бога ради, что вы хотите этим сказать? Это же один из лучших портретов на свете. Тициан, не кто-нибудь.

– Еще бы. Но вам-то что до него?

Чарли даже растерялся – как на это ответишь?

– Ну, это прекрасная картина, и написана великолепно. Конечно, она ни о чем не повествует, если вы это имеете в виду.

– Нет, не это, – улыбнулась Лидия.

– Она и вправду меня по-настоящему не задевает.

– Тогда на что он вам?

Лидия пошла прочь, Чарли последовал за ней. Равнодушным взглядом она скользнула по другим картинам. Слова ее смутили Чарли, он ломал голову, пытаясь понять, что она имела в виду. Она посмотрела на него с усмешкой. И сказала:

– Пойдемте, я вам покажу кое-какие картины.

Она взяла его под руку, и они пошли дальше. И вдруг он увидел «Джоконду».

– Вот она! – воскликнул Чарли. – Я должен остановиться и как следует на нее посмотреть. В Лувре я прежде всего хотел увидеть ее.

– Почему?

– Черт возьми, да это же самая знаменитая картина Леонардо. Это одна из самых значительных картин на свете.

– Она что-то значит для вас?

Чарли почувствовал, что Лидия начинает его раздражать; не понимал он, к чему она клонит, но по доброте душевной он не собирался давать волю досаде.

– Картина может быть значительной, даже если для меня она ничего не значит.

– Но тут важны только вы сами. Когда вы смотрите на картину, она что-то значит, только если она чем-то вас задевает.

– Какой-то уж очень самоуверенный подход.

– Эта картина и вправду вам что-то говорит?

– Конечно, говорит. И очень много всего, но мне вряд ли удастся высказать это лучше Патера. К сожалению, я не обладаю памятью моей матери. Она может повторить его высказывание наизусть

Но еще не договорив, Чарли почувствовал, что его ответ неубедителен. Он начинал смутно подозревать, что имела в виду Лидия, и растерянно подумал, что, похоже, есть в искусстве что-то, о чем ему никогда не говорили. Но, к счастью, он вспомнил слова матери об «Олимпии» Мане.

– В сущности, не понимаю я, почему вообще стоит что-то говорить о картине. Она либо нравится, либо нет.

– И «Джоконда» вам действительно нравится? – спросила Лидия таким тоном, будто учиняла ему легкий допрос.

– Очень.

– Почему?

Чарли на минуту задумался.

– Видите ли, я знаю ее практически всю жизнь.

– По той же причине вам нравится ваш друг Саймон, да? – улыбнулась Лидия.

Он чувствовал, что слова ее несправедливы.

– Ну ладно. Теперь ведите меня к картинам, которые нравятся вам.

Все вышло наоборот. Не он, как предполагал Чарли, просвещает ее, рассказывает о картинах так, что привлекает ее интерес к великим полотнам, которые всегда любил, но она его ведет. Прекрасно. Он вполне готов отдаться на ее волю и посмотреть, что из этого получится.

«Ну конечно, она же русская,– сказал он себе.– Надо с этим считаться».

Они шли и шли мимо множества полотен, из залы в залу – Лидия не

без труда отыскивала дорогу, но наконец она остановила Чарли перед небольшим полотном, которое легко можно было бы не заметить, если не ищешь именно его.

– Шарден, – сказал Чарли. – Да, я его видел.

– Но вы когда-нибудь присматривались к нему?

– А как же. Шарден в своем роде совсем не плохой художник. Мама очень его ценит. Мне и самому в общем-то нравятся его натюрморты.

– И ничего другого вы в этом не видите? Я просто в отчаянии.

– В отчаянии? – удивленно воскликнул Чарли. – Из-за каравай хлеба с бутылкой вина? Хотя, конечно, прекрасно написано.

– Да, вы правы, написано прекрасно; написано с любовью и состраданием. Это не просто каравай хлеба и бутылка вина, это хлеб жизни и кровь Христова, но не укрытые от тех, кто томится голодом и жаждой, и скупое раздаваемые священниками по торжественным случаям. Это ежедневная пища страждущих. Эта картина такая скромная, безыскусственная, человеческая, исполненная сочувствия. Это вино и хлеб бедняков, которым только и нужно, чтобы их оставили в покое, позволили свободно трудиться и есть свою простую пищу. Это крик презираемых и отверженных. Она говорит вам, что, как бы ни были грешны люди, в душе они добры. Этот хлеб и вино – символы радостей и горестей смиренных и кротких. Они не просят милости и любви вашей; они вам говорят, что они из той же плоти и крови, что и вы. Они говорят вам, что жизнь коротка и трудна, а в могиле холодно и одиноко. Это не просто хлеб и вино. Это тайна жребия человека на земле, его тоски по толике дружбы, толике любви, тайна его безропотной покорности, когда он видит, что даже и в этом ему отказано.

Голос Лидии дрожал, и вот по щекам покатались слезы. Она нетерпеливо смахнула их.

– И разве не чудо, что благодаря таким простым предметам, благодаря беспредельной чуткости истинного художника этот странный и милый старик, движимый своим отзывчивым сердцем, сотворил красоту, что надрывает душу? Словно почти невольно, сам того не сознавая, он старался показать, что из боли, отчаяния, жестокости, из всего рассеянного в мире зла человек может сотворить красоту – было бы только у него довольно любви, довольно сочувствия.

Лидия умолкла и долго стояла, глядя на маленькое полотно. Смотрел и Чарли, но с недоумением. Да, натюрморт очень хорош; прежде Чарли достаивал его лишь мимолетного взгляда и порадовался, что Лидия привлекла к картине его внимание, она и вправду на свой лад довольно

трогательна, но прежде он, разумеется, не видел в ней всего того, что видит Лидия. Странная она, неуравновешенная! И как неловко, что она плачет прямо здесь в галерее, у всех на виду; с этими русскими и правда попадаешь в преглупое положение; но кто бы мог подумать, что картина способна на кого-то так подействовать? Ему вспомнился рассказ матери о друге ее отца, студенте, который, впервые увидев «Одалиску» Энгра, потерял сознание, но то было давным-давно, в девятнадцатом веке, тогда люди были так романтичны, так чувствительны. Лидия повернулась к нему, на губах ее сияла улыбка. Поразительно, как внезапны у нее переходы от слез к смеху.

– Теперь пойдем? – предложила она.

– А другие картины вы смотреть не хотите?

– Зачем? Одну картину я посмотрела. Мне спокойно и отрадно. Чего ради смотреть что-то еще?

– Ну хорошо.

Престранно таким вот образом посещать картинную галерею. Ведь они даже не взглянули ни на Ватто, ни на Фрагонара. Мама непременно спросит, видел ли он «Паломничество на остров Киферу». Ей кто-то сказал, что картину отреставрировали, и она захочет знать, как теперь смотрятся краски.

Они кое-что купили, а потом обедали в ресторане на набережной на другой стороне Сены, и Лидия, как обычно, ела с отменным аппетитом. Ей нравилось, что вокруг много народу, нравился шум, оживленное уличное движение. Она была отлично настроена. Словно недавняя буря чувств омыла ей душу, и теперь она с милой веселостью болтала о пустяках. Но Чарли был задумчив. Он не так-то легко преодолевал охватившее его беспокойство. Обычно Лидия не замечала его настроения, но сейчас слишком ясно было по его лицу, что у него сердце не на месте, и это наконец дошло до нее.

– Вы почему такой молчаливый? – с доброй, сочувственной улыбкой спросила она.

– Все думаю. Понимаете, я всю жизнь интересуюсь искусством. Мои родители натуры артистические, кое-кто может даже счесть их истинными интеллектуалами, и они всегда старались привить нам с сестрой вкус к искусству; и по-моему, им это удалось. Но как подумаю, сколько я затратил труда, сколько возможностей мне предоставлялось, а понимаю я, похоже, куда меньше вас, и мне становится не по себе.

– Но я ничего не смыслю в искусстве, – рассмеялась Лидия.

– Но мне кажется, вы превосходно его чувствуете, а в искусстве все

определяет чувство. Нельзя сказать, что картины меня не радуют. Они доставляют мне удовольствие, и еще какое.

– Напрасно вы тревожитесь. Вполне естественно, что вы смотрите на картины не так, как я. Вы молоды, здоровы, счастливы, состоятельны. Вам не откажешь в уме. Для вас картины – еще одно удовольствие среди множества других удовольствий. Они согревают вас, приносят удовлетворение. Пройтись по картинной галерее для вас – способ приятно провести часок. Что еще вы можете от себя требовать? Но, понимаете, я всегда была бедна, часто голодна и порой ужасно одинока. Еда, питье, человеческое общение – все это было для меня роскошью. Когда я работала и хозяйка своими придирками доводила меня до отчаяния, я в обед бывало, сбегала в Лувр, и хозяйкина брань забывается. И когда умерла мама и я осталась одна на свете, Лувр был мне утешением. В те долгие месяцы перед судом, когда Робер сидел в тюрьме, а я ждала ребенка, если бы не возможность ходить в Лувр, где никто меня не знал, никто не пялил на меня глаза и где я оставалась наедине со своими друзьями, я бы, наверно сошла с ума и покончила с собой. Там я отдыхала и успокаивалась. И набиралась мужества. Мне помогли не столько огромные прославленные шедевры, но картины поменьше, поскромнее, на которые никто не обращает внимания, и я чувствовала, им приятно, что я на них смотрю. Я чувствовала, ничто, в сущности, не имеет значения, ведь все проходит. Терпение! Терпение! Вот чему я там научилась. И я чувствовала, несмотря на все несчастья, ужас, жестокость мира, существует нечто такое, что помогает все вынести, нечто куда значительнее и важнее всех бед и тягот – дух человеческий и творимая им красота. Что же удивительного, если небольшое полотно, которое я показала вам утром, так много для меня значит?

Чтобы полнее насладиться хорошей погодой, они пошли пешком по бульвару Сен-Мишель, а дойдя до конца, направились в Люксембургский сад. Там они сели и, лишь изредка перекидываясь словечком-другим, рассеянно поглядывали на кативших коляски нянюшек, которые, увы, уже не носили чепцы с длинными шелковыми лентами, как в предыдущем поколении, на старушек в черном, которые неспешно вели детишек, и на пожилых джентльменов, чьи лица, наполовину скрытые плотными шарфами, изборождены были глубокими морщинами, – погруженные в свои мысли, они прогуливались взад-вперед; с добрым чувством смотрели на длинноногих мальчишек и девчонок, которые резвились на дорожках, а когда мимо прошли двое юных студентов, им стало любопытно, о чем эти двое так серьезно рассуждают. Казалось, тут не городской парк, а частное владение, открытое для жителей левого берега Сены, и во всем

чувствовалась трогательная интимность. Но прохладные лучи угасающего солнца придавали всему еще и печаль – в парке, отделенном от суеты большого города железной решеткой, царил особый дух некоей нереальности, и казалось, будто и старики, прогуливающиеся по песчаным дорожкам, и детвора, чьи крики сливались в веселый гул, это лишь тени, что совершают призрачные прогулки или играют в призрачные игры, а в сумерки все они растают, как дым сигареты в надвигающейся тьме. Становилось уже очень холодно, и Чарли с Лидией, точно старые друзья, молча отправились в гостиницу.

Когда они оказались в номере, Лидия достала из чемоданчика тонкую пачку нот.

– Я принесла несколько пьес, их обычно исполнял Робер. Сама я играю совсем скверно, да в квартире у Алексея пианино нет. Как вы думаете, вы сумели бы их сыграть?

Чарли посмотрел на ноты. Музыка русская. Некоторые пьесы ему знакомы.

– Пожалуй, сумею, – ответил он.

– Внизу есть пианино, и сейчас в гостиной никого не будет. Пойдемте туда.

Инструмент оказался изрядно расстроенным. Клавиатура пожелтела от времени, а оттого что на нем редко играли, иные клавиши туго поддавались. Перед ним стоял не обычный табурет, а особая скамья на двоих, и Лидия села рядом с Чарли. Он раскрыл на подставке знакомую пьесу Скрябина, взял несколько громких аккордов, пробуя инструмент, и начал играть. Лидия следила за партитурой и перелистывала ноты. Чарли когда-то брал уроки музыки у лучших лондонских учителей, да и занимался на совесть. И в школе и в Кембридже он выступал на концертах, так что обрел уверенность в себе. У него было легкое приятное туше. Играл он с удовольствием.

– Ну вот, – сказал он, закончив пьесу.

Не сказать, чтобы он был недоволен собой. Он знал, что в своем исполнении следовал намерению композитора и сыграл пьесу с той ясностью и изящной простотой, которую любил у профессиональных пианистов.

– Сыграйте что-нибудь еще, – попросила Лидия.

Она выбрала пьесу. То было переложение для фортепьяно народных песен и танцев, сделанное композитором, о котором Чарли никогда не слышал. Он испугался, увидев на обложке имя Робера Берже, выведенное твердым четким почерком. Лидия молча уставилась на надпись, потом

развернула ноты. Чарли смотрел на музыку, которую ему предстояло исполнить, а сам пытался понять, о чем же сейчас думает Лидия. Должно быть, вот так же, как она сейчас сидит с ним, она сидела прежде подле Робера. Зачем ей мучить себя, слушая, как он играет пьесы, которые уж конечно будят в ней горькие воспоминания об ее недолгом счастье и ужасе, что за ним последовал?

– Ну, начинайте.

Чарли хорошо играл с листа, а музыка была нетрудная. Ему казалось, он неплохо справился со своей задачей. Взяв последний аккорд, он ждал от Лидии похвалы.

– Вы играли очень мило,– сказала Лидия.– Но куда же подевалась Россия?

– Что вы хотите этим сказать? – спросил он, несколько обиженный.

– Вы так играли, словно эта музыка о воскресенье в Лондоне,– принаряженный люд гуляет по огромным площадям и паркам и ждет не дождется часа, когда придет пора пить чай. Но эта музыка совсем про другое. Это старая, старая песня, в ней крестьяне жалуются на свою скудную и тяжкую жизнь, это бескрайние поля золотой пшеницы и труд жатвы, это березовые рощи и тоска рабочих по времени, когда на земле воцарится мир и изобилие, и это буйный танец, в котором они ненадолго забывают о своей участи.

– Что ж, сыграйте лучше.

– Не умею я играть,– сказала Лидия, однако потеснила его и заняла его место.

Чарли слушал. Играла она плохо, и все же было в ее исполнении что-то, чего он не увидел в этой музыке. Хотя и дорогой ценой, но она ухитрилась передать таящееся в мелодии смятение чувств и горечь печали, придала танцевальным ритмам первобытную жизненную силу, что волновала кровь. Но Чарли был сбит с толку.

– Признаться, я не понимаю, почему вам кажется, будто с помощью фальшивых нот и без конца нажимая на педаль вы лучше воссоздаете русский дух этого сочинения,– едко сказал он, когда Лидия кончила.

Лидия рассмеялась и, обхватив его обеими руками за шею, поцеловала в обе щеки.

– Вы прелесть! – воскликнула она.

– Очень мило, что вы так говорите,– холодно отозвался Чарли, высвобождаясь из ее объятий.

– Я вас обидела?

– Ничуть.

Лидия покачала головой, посмотрела на него с мягкой, ласковой улыбкой.

– Вы играете прекрасно, и техника у вас превосходная, но не воображайте, будто вы можете исполнять русскую музыку, ничего подобного. Сыграйте мне что-нибудь Шумана, вот это вы наверняка можете.

– Нет, я больше не собираюсь играть.

– Если вы на меня сердитесь, почему бы вам меня не ударить?

Чарли не удержался и фыркнул.

– Что за дурь. Мне такое и в голову не приходило. Да и не сержусь я.

– Вы такой большой, сильный, красивый, я совсем забыла, что вы еще мальчишка, – со вздохом сказала Лидия. – И вы так не подготовлены к жизни. В иные минуты погляжу на вас, и меня как ножом по сердцу.

– Ну, не становитесь совсем уж русской и чувствительной.

– Пожалуйста, сделайте милость, сыграйте Шумана.

Лидия, когда ей чего-то хотелось, умела уговорить.

С застенчивой улыбкой Чарли вновь занял свое место. По правде говоря, Шуман был его любимым композитор, и он многое знал наизусть. Он играл для Лидии добрый час, и всякий раз, как хотел перестать, она просила его продолжать. Молодой кассирше любопытно стало, кто же это играет, и она заглянула в гостиную. Возвратясь за стойку, она с многозначительной лукавой улыбкой шепнула портье:

– Наши голубки развлекаются.

Наконец Чарли остановился, и Лидия удовлетворенно вздохнула.

– Я так и знала, что Шуман вам подходит. Эта музыка вроде вас – она исполнена здоровья, довольства и здравомыслия. В ней свежий воздух и солнце и восхитительный запах сосен. Она принесла мне облегчение, и эти дни с вами тоже. Ваша мама, наверно, очень вас любит.

– Ну, перестаньте.

– Почему вы так добры ко мне? Я надоедная, скучная, несносная. Я вам даже и не очень-то нравлюсь, правда?

Чарли ненадолго задумался.

– Что ж, сказать по правде, не очень.

Лидия рассмеялась.

– Тогда почему вы со мной нянчитесь? Почему не выгоните меня на улицу?

– Понятия не имею.

– Сказать вам? Это все доброта. Просто-напросто самая обыкновенная дурацкая доброта.

– Идите к черту.

Они ужинали в Латинском квартале. От Чарли не ускользнуло, что как личность он Лидии не интересен. Она приняла его, как приняла бы случайного попутчика, с которым столкнешься на пароходе, поневоле как-то сблизисься, при этом вовсе неважно, откуда он взялся, что он за человек; он возник из небытия, когда ступил на борт, канет в небытие, когда, достигнув порта назначения, ним расстанешься. Чарли был достаточно скромнен и не обижался, не мог же он не понимать, что слишком серьезны несчастья и заботы Лидии, они поглощают все ее внимание; поэтому он удивился, когда она навела его на разговор о нем самом. Он рассказал ей о своих художественных наклонностях и о долго лелеемой мечте стать художником и она одобрила его здравый смысл, благодаря которому он в конце концов предпочел обеспеченную жизнь делового человека. Впервые он видел ее такой веселой и непосредственной. Жизнь англичан она знала только по книгам Диккенса, Теккерея и Герберта Уэллса, и ей любопытно было услышать, как протекает жизнь в богатых благополучных домах на Бейсуоттер-Роуд, которые она видела только снаружи. Она расспрашивала Чарли о его доме и о семье. А об этом он всегда рад был поговорить. Об отце и матери он рассказывал с мягкой насмешкой, но Лидия отлично понимала, что ироническим тоном он просто прикрывает любовное восхищение родителями. Сам того не ведая, он нарисовал премилую картину счастливого любящего семейства, что живет скромно и в достатке, не тревожимое страхом за будущее, в мире с собой и со всем светом. В жизни, которую он описал, не было недостатка ни в милосердии, ни в достоинстве; была она здоровая, нормальная и благодаря интеллектуальным интересам членов семейства не вовсе заземленная; то были люди простые, честные, не тщеславные и не завистливые, готовые исполнять свой долг, как они его понимали, перед государством и перед ближними; чуждые злобы и коварства. Если Лидия и понимала, в какой мере их доброжелательство, доброта, не лишнее приятности самодовольство покоятся на давнем и упорядоченном процветании страны, где им довелось родиться, если и заподозрила хотя бы смутно, что как детей, которые строят замки на песке, их в любую минуту может смыть приливом, она и виду не подала.

– Счастливы вы народ, англичане,– сказала она.

Но Чарли был слегка удивлен тем, как отозвались в нем его собственные слова. Он рассказывал, а сам впервые в жизни видел себя со стороны, глазами слушателя. Подобно актеру, который произносит свой текст, но никогда не видит пьесу из зала и потому лишь смутно

представляет, какое все это производит впечатление, Чарли играл свою роль, не задаваясь вопросом, есть ли в ней какой-то смысл. Не то чтобы ему стало неловко, но он был слегка озадачен, когда осознал, что все они – отец, мать, сестра, он сам, хоть и заняты с утра до ночи, даже не хватает дня на все, что хотелось бы сделать, однако, если посмотреть на жизнь, которую они ведут из года в год, появляется неприятное ощущение, будто никто из них вовсе ничего не делает. Словно какой-то спектакль, где и декорации хороши, и костюмы красивы, и диалоги умны, актеры опытные, искусные – приятно проводишь вечер, а уже через неделю ничего не можешь вспомнить.

После ужина Чарли и Лидия сели в такси и поехали кино на другом берегу Сены. То был фильм братьев Маркс, и они покатывались со смеху над немислимыми выходками изумительных комиков; но они хохотали не только над остротами Граучо и презабавными переплетами, в которые попадал Харпо, хохотали и над тем, как хохотал другой. Фильм кончился в полночь, но Чарли, слишком взбудораженный, просто не мог сейчас спокойно улечься спать и спросил Лидию, не пойдет ли она с ним куда-нибудь потанцевать.

– Куда бы вам хотелось пойти? – спросила Лидия. – На Монмартр?

– Куда хотите, только чтоб было весело. – А потом, вспомнив вечное, но редко осуществимое желание родителей, когда они бывают в Париже, прибавил: – Где поменьше англичан.

Лидий глянула на него с лукавой улыбкой, которую он раза два уже видел. Ему и удивительно это было, и мило. Удивительно, потому что в его представлении совсем не вязалось с ее натурой, а мило, потому что несмотря на трагическую судьбу Лидии как бы подсказывало, что есть в ней и веселость, и славное задиристое озорство.

– Поведу вас в одно местечко. Там, может, и не весело, зато, должно быть, интересно. Там поет одна русская.

Путь был долгий, и когда автомобиль остановился, Чарли увидел, что они на набережной. На фоне морозной звездной ночи четко вырисовывались башни-близнецы Собора Парижской богородицы. Чарли с Лидией сделали несколько шагов по темной улице, потом прошли в узкую дверь, спустились на один пролет по лестнице и, к удивлению Чарли, оказались в просторном подвале с каменными стенами; от стен отходили довольно большие деревянные столы, за каждым могли поместиться человек двенадцать, а по обе стороны стояли деревянные скамьи. Было жарко, душно, воздух –серый от дыма. Посередине меж столов теснились пары, танцевали под какую-то заунывную мелодию. Неряшливого вида

официант без пиджака нашел им два места и принял заказ. Сидящие за столами с любопытством поглядывали на них и перешептывались; и конечно же, Чарли в английском костюме синей саржи и Лидия в черном шелковом платье и в элегантной шляпке с пером резко отличались от всех присутствующих. Мужчины, без воротничков и галстуков танцевали в кепках, зажав в зубах сигарету. Женщины были без шляп и вызывающе накрашены.

– Вид у них прямо бандитский, – сказал Чарли.

– Они такие и есть. Большинство уже побывало за решеткой, а остальным этого не миновать. Если начнется ссора и они станут швырять стаканы или повынимают ножи, просто прислонитесь спиной к стене и не шевелитесь

– Похоже, мы им не очень-то по вкусу, – сказал Чарли. – Мне кажется, мы слишком привлекаем внимание.

– Они думают, мы любопытствующие туристы, а подобную публику они не выносят. Но все обойдется. Я знакома с patron (хозяин, владелец заведения – фр.).

Когда официант принес заказанные два пива, Лидия попросила его позвать хозяина. Тот мигом явился, крупный толстяк, по виду точь-в-точь священник, и сразу узнал Лидию. Он проникательно и недоверчиво глянул на Чарли, но Лидия представила его как своего друга, и хозяин сердечно пожал ему руку и сказал, мол, рад познакомиться. Он подсел к их столику и несколько минут вполголоса о чем-то разговаривал с Лидией. Чарли заметил, что соседи наблюдают за этой сценой, и увидел, как один из них подмигнул другому. Они явно поняли, что все в порядке. Танец кончился, и те, кто прежде сидел за этим столом, вернулись. Они враждебно оглядели незнакомую парочку, но хозяин объяснил, что это свои, и тогда один из компании – темная личность со шрамом на физиономии, видно, когда-то полоснули бритвой – настоял, чтобы они выпили с ним по стаканчику. Скоро все уже весело болтали. Им явно хотелось, чтобы молодой англичанин чувствовал себя как дома, и парень, сидящий с ним рядом, толковал ему, что хотя на вид компания грубоватая, неотесанная, но все они ребята что надо и сердце у них на месте. Был он изрядно под хмельком. Чарли справился с охватившим его поначалу беспокойством.

Вскоре встал саксофонист и выдвинул вперед стул. С гитарой в руках вышла русская певица, о которой говорила Лидия, и села. Раздался взрыв рукоплесканий.

– C'est La Marishka (это Маришка – фр.), – сообщил Чарли его хмельной приятель. – Другой такой на свете нету. Она была любовницей

одного комиссара, но Сталин велел его расстрелять, и если бы она не сумела сбежать из России, он бы и ее велел расстрелять.

Женщина, сидящая по другую сторону стола, услышала его слова.

– Что за вздор ты несешь, Лулу,– крикнула она.– La Marishka до революции была любовницей великого князя, это все знают, у нее на миллионы было бриллиантов, а большевики все у ней отобрали. Она переделалась крестьянкой и сбежала.

Маришка была женщиной лет сорока, худая, мрачная, черты лица суровые, мужские, смуглая кожа и огромные горящие глаза под черными, густыми, круто изогнутыми бровями. Хриплым голосом во всю мощь легких она спела раздольную печальную песню, и хотя Чарли не понял ни единого русского слова, его пробрала дрожь. Певице громко хлопали. Потом она спела по-французски сентиментальную балладу – плач девушки по возлюбленному, которого наутро ждет казнь, чем привела слушателей в неистовый восторг. Напоследок она спела еще одну русскую песню, на сей раз веселую, и облик ее уже не казался трагическим; теперь лицо ее дышало грубым, необузданным весельем и в голосе сильном, резком звучало удалство; слушаешь, и кровь играет в жилах, и радуешься, но и сердце щемит оттого, что за бесшабашным ликованием таится отчаяние напрасных слез. Чарли посмотрел на Лидию и поймал ее усмешливый взгляд. Он добродушно улыбнулся. Эта суровая женщина извлекала из музыки что-то, что, как он теперь понимал, было ему недоступно. Песня кончилась, опять раздался взрыв рукоплесканий, но Маришка будто и не слышала, встала и направилась к Лидии. Они заговорили по-русски. Лидия повернулась к Чарли.

– Она выпьет шампанского, если вы ее угостите.

– Ну конечно.

Чарли подозвал официанта и заказал бутылку шампанского, но тут же, поглядев на шестерых соседей по столу, распорядился по-другому:

– Две бутылки и стаканы. Может быть, дамы и господа не откажутся выпить с нами.

Публика с благодарностью приняла предложение. Принесли шампанское, Чарли наполнил стаканы, передал по кругу. Все чокались, не скупившись на заздравные тосты

– Vive l'Entente Cordiale (да здравствуют страны согласия – фр.)

– A nos allies (за наших союзников – фр.)

Все развеселились, исполнились дружелюбия. Чарли блаженствовал. Но он ведь пришел танцевать, и когда вновь заиграл оркестр, он поднял Лидию из-за стола. Скоро танцевало уже много пар, и он заметил, сколько

любопытных взглядов обращено на Лидию; должно быть, всей честной компании стало известно, кто она такая; для этих молодчиков и их подружек она представляла особый интерес, отчего Чарли почувствовал себя не в своей тарелке. Лидия же, казалось, даже не замечала их взглядов. Вскоре хозяин тронул ее за плечо.

– Мне надо сказать вам словечко,– шепнул он.

Лидия высвободилась из рук Чарли и, отойдя с толстяком в сторону, стала его слушать. Чарли видел, что она испугана. Тот, похоже, кого-то хотел ей показать – Чарли видел, она повернула голову, но за теснящимися танцующими парами ей ничего не удалось увидеть, и она прошла за хозяином в другой конец подвала. Казалось, она совсем забыла про Чарли. Слегка раздосадованный, он вернулся к столу. Там удобно расположившиеся две пары попивали его шампанское, они сердечно его приветствовали. Все уже держались без церемонии и спросили, куда он подевал свою подружку. Он рассказал, что произошло. Один из мужчин был невысокий крепыш с красной физиономией и роскошными усами. Ворот распахнут, видна густо заросшая волосами грудь, да еще из-за удушающей жары он снял пиджак, закатал рукава рубашки, и оказалось, выше локтя руки сплошь в татуировке. С ним сидела девица, должно быть, лет на двадцать его моложе. Ее гладко прилизанные черные волосы были разделены посредине пробором и собраны на затылке в узел, лицо – точно белая маска – густо напудрено, губы ярко накрашены, щедро подведены глаза. Крепыш подтолкнул ее локтем:

– Слышь, а чего б тебе не станцевать с англичанином? Ты ж пила его игристое, верно я говорю?

– Я не против,– сказала она.

Танцуя, она так и льнула к Чарли. Она была сильно надушена, но не настолько, чтобы не чувствовалось, что за ужином она ела что-то изрядно сдобренное чесноком. Она зазывно улыбалась Чарли.

– До чего ж, видать, погряз в пороке наш красавчик-англичанин,– ворковала девица, извиваясь всем своим гибким телом, в черном, но пыльном бархатном платье.

– Почему вы так думаете? – улыбался Чарли.

– Быть с женой Берже – это разве не порок?

– Она моя сестра,– весело отозвался Чарли.

Девица сочла это верхом остроумия и, когда оркестр умолк и они вернулись к столу, повторила его слова в компании. Такой ответ всех позабавил, и волосатый крепыш Слепнул Чарли по спине.

– Farceur, va (ну и шутник – фр.).

Чарли вполне устраивало, что его принимают за шутника. Успех был приятен. Он понимал, что как любовник жены знаменитого убийцы он тут и сам вроде важной персоны. Они подбивали его прийти еще разок.

– Только приходите один, – сказала девица, с которой он перед тем танцевал.

– Мы подберем вам девчонку. На кой вам якшаться с этими русскими? Французское вино – вот вам что надо.

Чарли заказал еще бутылку шампанского. Он ничуть не пьянел, но был весел. Он всю наслаждался жизнью. Когда вернулась Лидия, он болтал и смеялся со своими новыми приятелями, будто был знаком с ними целую вечность. Следующий танец он танцевал с ней. Он заметил, что мысли ее далеко, и слегка встряхнул ее.

– Вы где-то витаєте.

Она засмеялась.

– Извините. Я устала. Давайте уйдем.

– Вы расстроены, что-нибудь случилось?

– Нет, но уже поздно, и жара невыносимая.

Обменявшись дружескими рукопожатиями с новыми знакомыми, они вышли и сели в такси. Лидия в изнеможении откинулась на спинку сиденья. Чарли, убоготоренный, разнеженый, взял Лидию за руку. Ехали в молчании.

Они легли, и уже через несколько минут по ровному дыханию Лидии Чарли понял, что она уснула. А ему не спалось, слишком он был взбудоражен. Он так славно провел вечер, и приятное оживание не проходило. Какое-то время он перебирал все в уме и усмехался, представляя, как распишет этот вечер своим домашним. Он зажег свет, собираясь почитать. Но стихи Блейка не шли ему сейчас на ум. Беспорядочные воспоминания проносились в голове. Он погасил свет и задремал, но скоро проснулся. Его снедало желание. Он слышал спокойное дыхание спящей в соседней стели женщины, и странное чувство шевельнулось у него в душе. Если не считать тот первый вечер в S rail, Лидия не вызывало в нем ничего, кроме жалости и доброты. Как женщина она несколько его не привлекала. Он видел ее несколько дней подряд с утра до ночи, и теперь она не казалась ему даже просто хорошенькой; ему не нравилось ее широкое скуластое лицо и то, как неглубоко сидели в орбитах ее неяркие глаза; иногда он находил ее просто дурнушкой. Несмотря на жизнь, которую она сама для себя избрала (по мотивам нелепым и противоестественным) от нее веяло невыносимой благопристойностью, убивающей всякие фривольные мысли. Да и ее равнодушие к плотской

близости замораживало. Мужчины, которые за деньги пользовались ею ради удовольствия, вызывали в ней презрение и гадливость. Страстно любя Робера, она отрешилась от каких-либо иных привязанностей, и это убивало желание. Но кроме всего прочего, она и сама по себе не слишком нравилась Чарли; иногда она бывала угрюма, почти всегда равнодушна; все его знаки внимания принимала как должное; да, конечно, она ничего не просит, однако было бы приятно дожидаться от нее пусть не благодарности, но хоть намек на то, что она замечает, как он ради нее старается. И уж не водит ли она его за нос, как последнего дурня? Если Саймон сказал правду и она зарабатывает в публичном доме, чтобы помочь Роберу бежать с каторги, значит, она попросту отъявленная лгунья; от мысли, что у него за спиной она потешается над его простодушием, его бросило в жар. Нет, несколько он ею не восхищался и чем больше о ней думал, тем меньше она ему нравилась. И однако сейчас его охватило такое неодолимое желание, что казалось, он вот-вот задохнется. Она вдруг представилась ему не такой, какой он видел ее каждый день, бесцветной, будто учительница в воскресной школе, но той, какую увидел впервые, в широких турецких шальварах и голубом тюрбане, осыпанном звездочками, нарумяненную, с накрашенными ресницами; ему виделась ее тонкая талия, чистая, нежная медового цвета кожа и маленькие упругие груди с розовыми сосками. Он беспокойно ворочался в постели. Не мог он совладать с желанием. Что за пытка. В конце концов, это несправедливо, он молодой, сильный, нормальный мужчина, отчего ж ему не развлечься, когда подвернулся случай? Ведь для того она тут и есть, она сама так сказала. Пускай сочтет его грязной свиньей, что из того? Он обошелся с ней как нельзя лучше, заслужил же он хоть что-то. Ее спокойное, едва слышное дыхание странно возбуждало, и сам он задышал чаще. Ему уже чудилось, как он прильнул губами к ее нежным губам, ощущает в ладонях ее маленькие груди, в объятиях – ее гибкое тело, прижимается длинными ногами к ее ногам. Он зажег свет в надежде, что она проснется, и встал с постели. Склонился над Лидией. Она лежала на спине, скрестив руки на груди, словно каменное изваяние на саркофаге; из-под сомкнутых век струились слезы, рот искривлен скорбью. Она плакала во сне. Сейчас она совсем как ребенок, и на лице по-детски безысходное отчаяние, ведь ребенок не знает, что горе пройдет, как проходит все остальное. У Чарли перехватило дыхание. Было нестерпимо видеть спящую такой несчастной и его захлестнула жалость, напрочь смывая и страсть, и желание. Весь день Лидия была весела, приветлива, охотно поддерживала разговор, и ему казалось, ее хотя бы ненадолго отпустила боль, которая, он сознавал, затаилась в глубине ее

души; но во сне боль вернулась, и как же хорошо он понимал, что за горькие сны ее мучат. Он глубоко вздохнул. Но спать уже совсем не хотелось, о том, чтобы опять лечь в постель, и думать было тошно. Чарли повернул абажур так, чтобы свет не беспокоил Лидию, и, подойдя к столу, набил и разжег трубку. Потом отодвинул тяжелую занавесь на окне, сел и посмотрел во двор. Двор был темный, светило лишь одно окно, и это выглядело зловеще. Быть может, там кто-то болен или просто вот так же не может уснуть и невесело размышляет над запутанностью жизни. А может, мужчина привел к себе женщину, и, утолив страсть, они довольные лежат в объятиях друг друга. Чарли закурил. Он был угнетен и подавлен. Ни о чем не думалось. И наконец он опять лег и уснул.

Проснулся он оттого, что горничная внесла утренний кофе. В первую минуту он забыл все, что было ночью.

– До чего же крепко я спал,– сказал он, протирая глаза.

– Прошу прощения, но уже половина одиннадцатого, а в половине двенадцатого у меня деловая встреча,– отозвалась Лидия.

– Ну что вы. Сегодня мой последний день в Париже, глупо было бы его проспать.

Горничная принесла два завтрака на одном подносе, и Лидия велела отдать его Чарли. А сама надела халат, села в изножье его кровати и прислонилась к спинке. Налила кофе, разрешила пополам булочку и намазала его половинку маслом.

– Я смотрела на вас спящего,– сказала она.– Вы так славно спите, будто зверек или ребенок, так глубоко, покойно, отдыхаешь, даже просто глядя на вас. И тут он вспомнил.

– Боюсь, вы не очень хорошо провели ночь.

– Еще как хорошо. Спала как убитая. Понимаете я отчаянно устала. Вот за что я вам особенно благодарна – мне чудесно спалось все эти ночи. Меня ужасно мучают сны. А здесь мне ни разу ничего не снилось, я спала совсем спокойно. А ведь я думала, мне уже никогда так не спать.

Чарли знал, прошлая ночь не обошлась без снов, и знал что за сны ей снились. Она их не помнила. Он избегал на нее смотреть. И неприятно, и страшно, и жутко было думать, что, когда человек погружается в бессознательное состояние, его живая, мучительная жизнь может продолжаться, жизнь настолько реальная, что слезы текут ручьями и гримаса горя искажает рот, и, однако, проснувшись, он ничего не помнит. Чарли поежился от внезапно мелькнувшей мысли. Он не сумел бы точно ее выразить, а если бы это удалось, пожалуй, спросил бы себя:

– Кто же мы в сущности такие? Что мы знаем о себе? А бессознательная наша жизнь, она что, не такая подлинная, как та, которой мы живем наяву?

Очень странно и сложно все это. Похоже, жизнь совсем не так проста, как казалось прежде, похоже, у людей, которых, как мы полагали, мы хорошо знаем, есть тайны, о существовании которых они и сами не ведают. Чарли внезапно подумалось, что люди беспредельно загадочны. Одно несомненно, ты ни о ком ничего не знаешь.

– Что у вас за встреча? – спросил он скорее не из любопытства, а просто чтобы что-то сказать.

Прежде чем ответить, Лидия закурила сигарету.

– Марсель, тот толстяк, хозяин ресторанчика, где мы были вчера вечером, познакомил меня с двумя людьми, и я договорилась встретиться с ними сегодня утром в Палетт. Вчера в этой толчее нам не удалось поговорить.

– Вот как!

Сдержанность не позволила ему спросить, что это за люди.

– Марсель поддерживает связь с Кайенной и Сен-Лораном. Он часто получает оттуда вести. Поэтому мне и хотелось туда пойти. Они на прошлой неделе бросили якорь в Сен-Назере.

– Кто? Эти двое? Они беглые каторжники?

– Нет. Они отбыли свой срок. За их проезд заплатила Армия спасения. Они знают Робера.– Она на миг запнулась.– Если хотите, можете пойти со мной. У них нет денег. Они будут благодарны, если вы им немножко дадите.

– Хорошо. Я бы пошел.

– Они, кажется, вполне приличные ребята. Одному, должно быть, не больше тридцати. Марсель говорит, он был осужден да то, что убил человека прямо в кухне ресторана, где он работал поваром. А за что судили другого, не знаю. Подите-ка примите ванну.– Она прошла к туалетному столику и посмотрелась в зеркало.– Странно, отчего у меня опухли веки. Вид такой, будто я плакала, а ведь ничего такого не было, вы же знаете.

– Верно, уж очень накурено было в ресторане. Господи, там же так надымили – не продохнешь.

– Я позвоню, чтобы принесли лед. А потом минут пять побудем на свежем воздухе, и все пройдет.

Когда они вошли в Палетт, там было пусто. Те, кто поздно завтракал, уже выпили кофе и ушли, а время предобеденного аперитива еще не настало. Лидия и Чарли сели в уголке у окна, чтобы можно было смотреть на улицу. Прождали несколько минут.

– Вот они, – сказала Лидия.

Чарли глянул из окна, увидел идущих мимо двух мужчин. Они заглянули в окно, чуть помешкали и прошли дальше, потом вернулись; Лидия улыбнулась им, но они не обратили на нее внимания; постояли, посмотрели вдоль улицы в одну сторону, в другую, потом неуверенно – на кафе. Похоже, они не решались войти. Оба держались робко, словно старались быть незаметней. Они перекинулись несколькими словами, и

тот, что помоложе, торопливо и тревожно оглянулся. Второй вдруг решился и пошел к дверям. Его приятель поспешил следом. Они вошли, и Лидия помахала им рукой и улыбнулась. Они по-прежнему словно не замечали ее. Украдкой огляделись, будто проверяя, не грозит ли какая опасность, потом подошли, один глядя в пол, другой в сторону. Лидия пожалала им руки, представила Чарли. Они, видно, ждали, что она будет одна, и присутствие спутника их смутило. Они посмотрели на Чарли подозрительно. Лидия объяснила, что он англичанин, ее приятель, на несколько дней приехал в Париж. Чарли, стараясь улыбнуться возможно приветливее, протянул руку; один за другим они вяло ее пожалали. Казалось, им вовсе нечего сказать. Лидия пригласила их присаживаться и спросила, что им заказать.

– Чашку кофе.

– А есть что-нибудь будете?

Старший смущенно улыбнулся приятелю.

– Пирожное, если можно. Парнишка сластена, а там, откуда мы приехали, этим не баловали.

Говоривший был чуть ниже среднего роста. Лет, должно быть, сорока. Второй – дюйма на три выше и лет, наверно, на десять моложе. Оба очень тощие. Оба при воротничках и при галстуках, в грубошерстных костюмах, один в серо-белую клетку, другой в темно-зеленом, но костюмы плохо сшиты и сидели мешковато. Обоим было явно не по себе в этом одеянии. Старший, хоть и невысок ростом, был крепок и ладно скроен; изжелта-бледная физиономия изрезана морщинами. Вид решительный. Лицо второго такое же бледное, бескровное, но туго натянутая кожа гладкая, без морщин, он выглядел совсем больным. Было у них и еще одно общее свойство: глаза у обоих казались неестественно большими, и когда они обращали на вас взгляд, они будто смотрели не на вас, а, уставясь как сумасшедшие куда-то вдаль, вглядывались во что-то, что внушало им ужас. Мучительно это было. Поначалу они робели, а поскольку Чарли тоже робел, хотя, желая проявить дружелюбие, угощал их сигаретами, а Лидия, казалось, не видела нужды в словах и довольствовалась тем, что не сводила с них глаз, все сидели молча. Но она смотрела на этих двоих с таким ласковым участием, что молчание никого не смущало. Официант принес кофе и тарелку с пирожными. Старший повертел пирожное в руках, а второй ел с жадностью, то и дело украдкой бросая на приятеля трогательные удивленно-восхищенные взгляды.

– Мы как очутились одни в Париже, мы первым делом махнули в кондитерскую, и парнишка уплел подряд шесть шоколадных эклеров. Но это ему не прошло даром.

– Ага,– серьезно сказал второй.– Мы только вышли на улицу, и меня стошнило. Живот мой к этому не приучен, вот какое дело. Но эклеры того стоили.

– Вас там очень плохо кормили?

Старший пожал плечами.

– Триста шестьдесят пять дней в году мясо. Скоро перестаешь это замечать. Да еще, если ведешь себя по правилам – а правила лучше не нарушать,– дают сыр и немного вина. Конечно, когда отбарабанил срок и тебя освободили, тут дело хуже. В тюрьме и харч, и крыша над головой, а на свободе крутись как знаешь.

– Мой друг не понимает,– сказала Лидия.– Объясните ему. У них в Англии по-другому.

– А оно вот как. Приговорили тебя на срок восемь, десять, пятнадцать, двадцать лет отсидки, а свое отрубил – ты lib r (освобожденный – фр.). И должен оставаться в колонии еще столько лет, на сколько был осужден. Работу найти трудно. У lib r s дурная слава, и никому неохота их нанимать. Правда, могут дать участок земли, и, пожалуйста, обрабатывай, да ведь не всякий сумеет. Столько лет просидел в тюрьме, да выполнял приказы охранников, да половину времени вовсе ничего не делал, вот и отвыкаешь мозгами шевелить; а еще малярия, глисты, никаких сил не остается. Большинство получают работу, только когда приходит пароход, малость подрабатывают на разгрузке. Lib r спит на базаре, пьет рафию, если подвернулся случай, да голодает, ничего другого ему не остается. Мне повезло. Понимаете, я по профессии электрик, хороший электрик, свое дело знаю лучше некуда, стало быть, человек нужный. Вот и жилось мне неплохо.

– На сколько вас осудили? – спросила Лидия.

– Всего на восемь лет.

– А за что?

Он слегка пожал плечами, с неодобрительной улыбкой глянул на Лидию.

– Дурь, мальчишество. Бывает, по молодости попадешь в скверную компанию, слишком много пьешь, а там, глядишь, что-то случается и потом всю жизнь за это расплачиваешься. Мне тогда было двадцать четыре, а теперь сорок. Лучшие свои годы провел в этом аду.

– Он мог бы выбраться раньше, да не захотел, – сказал младший.

– Вы хотите сказать, мог сбежать? – спросила Лидия.

Чарли быстро испытующе взглянул на нее, но ничего не прочел по ее лицу.

– Сбежать? Нет, это дурацкая затея. Сбежать всегда можно, а вот выбраться на свободу мало кому удалось. Куда денешься? В заросли? Лихорадка, дикие звери, голод, а еще туземцы, схватят тебя, за поимку ведь заплатят. Многие пробовали бежать. Понимаете, бывает, человек сыт по горло, все опостылело, еда, приказы, физиономии всех каторжников, ну и подумает, все будет лучше, чем такая жизнь, а выдержать не сможет: такие, если не помрут от голода или болезни, попадают туземцам или сами сдаются; и тогда два одиночки, а то и больше, и надо быть здоровенным парнем, не то сломаешься. Раньше, когда голландцы строили железную дорогу, было проще, перебрался через реку, и тебя берут на работу, а теперь дорога построена и рабочие им уже без надобности. Они тебя схватят и отправят обратно. Но даже и тут приходилось рисковать. Был там один таможенник, он обещал переправить тебя через реку, был у него свой тариф. Договоришься встретиться с ним ночью где-нибудь в джунглях, а придешь, он возьмет да и застрелит тебя и опустошит карманы. Говорят, покуда его не поймали, он человек тридцать погубил. Кое-кто ушел морем. Человек шесть сговорятся и подыбют какого-нибудь lib r купить жалкое суденышко. Трудное это плавание, без компаса, безо всего, и ведь не знаешь, когда налетит шторм; если куда приплывут, это скорей везенье, а не уменьье. И опять же, куда деваться? Венесуэла их больше не принимает, а высадутся они там, их – в тюрьму и отправляют обратно. Высадутся в Тринидаде, власти подержат их неделю, снабдят продуктами, даже лодку дадут, если ихняя не годится для морского плавания, и отправляют в море, а плыть-то некуда. Нет, бежать и пробовать глупо.

– Но ведь, бывает, удается людям,– сказала Лидия.– Этот вот доктор, как же его имя? Говорят, он практикует где-то в Южной Америке и живет неплохо.

– Да, с деньгами иной раз и удается бежать, только если не на островах, а в Кайенне или в Сен-Лоране. Можно сговориться со шкипером бразильской шхуны, он подберет тебя в море и, если он честный парень, высадит где-нибудь на берегу, где ты будешь в полной безопасности. А жулик возьмет у тебя деньги да вышвырнет тебя за борт. Но он теперь требует двенадцать тыщ франков, а значит, денег надо вдвое больше,– lib r , который передаст их шкиперу, за посредничество берет половину. А потом ведь не высадишься в Бразилии без гроша в кармане. Надо иметь по крайности тридцать тыщ франков, а у кого они есть?

Лидия задала еще один вопрос, и опять Чарли бросил на нее пытливым взгляд.

– Но как можно быть уверенным, что lib r передаст деньги?

– А никак. Бывает, и не передает, но тогда ему рано или поздно всадят нож в спину, и он хорошо знает, начальство не станет особо беспокоиться, если однажды утром какого-то там lib r найдут мертвым.

– Ваш приятель сказал, вы могли уехать раньше, но не уехали. Что это значит?

Коротышка неодобрительно пожал плечами.

– Я сумел стать полезным человеком. Комендант был порядочный малый, и он видел, я хороший работник и честный. Они скоро поняли, меня можно оставлять в доме одного, если надо что-то там сделать, и я ничего не трону. Он выхлопотал для меня разрешение вернуться во Францию, когда мне оставалось еще жить там два года как lib r .– Он трогательно улыбнулся другу.– Но не хотел я оставлять этого негодника. Знал, без меня он попадет в переplet.

– Верно,– сказал младший.– Я всем ему обязан.

– Он, когда вышел, совсем был сосунок. Его койка стояла рядом с моей. Днем держался совсем неплохо, а по ночам плакал и звал мамашу. Мне жалко его было. Сам не знаю, как это вышло, а только привязался я к нему. Парнишка совсем растерялся среди тамошней братии, и пришлось мне за ним приглядывать. Кой-кто стал было его донимать, один алжирец не давал ему проходу, но я его проучил, и тогда все оставили парнишку в покое.

– А как вы его проучили?

На лице коротышки появилась такая веселая, озорная ухмылка, что он вдруг сразу помолодел на десять лет.

– Ну, понимаете, там можно заставить себя уважать, только если умеешь владеть ножом. Я вспорол ему брюхо.

У Чарли перехватило дыхание. Это было сказано так просто, он с трудом поверил своим ушам.

– Понимаете, с девяти до пяти мы заперты в общей спальне, и надзиратели туда не заходят. Сказать по правде, им это может стоить жизни. Если утром кого-нибудь находят с дыркой в животе, начальство не задает вопросов, знает, правды ему все равно не скажут. Так что, понимаете, я вроде чувствовал себя в ответе за парнишку. Надо было всему его научить. У меня голова на плечах, и я скоро сообразил, хочешь жить легко, от тебя только одно требуется: делай, как тебе велят, и будь тише воды ниже травы. Не справедливость на свете правит, а сила, а сила у него, у начальства; в один прекрасный день власть, может, будет у нас, у рабочего люда, тогда мы этим буржуям покажем, почем фунт лиха, а до тех пор надо подчиняться. Этому я его и учил, а еще своему делу, и теперь он

почти такой же классный электрик, как я.

– Теперь нам только надо найти работу,— сказал младший.— Чтоб работать вместе.

– Мы через такое вместе прошли, нам теперь расставаться нельзя. Понимаете, у меня кроме него никого. Ни матери, ни жены, ни ребятишек. Была мать, да померла, а жену и ребятишек потерял, когда попал в эту историю. Женщины суки. А если никого не любишь, трудно на свете.

– А я, кто у меня? Мы вдвоем, это уж навсегда.

Было что-то очень трогательное в дружбе этих двух бедолаг. Чарли пришел в волнение и даже сам смутился; сказать бы им, что их дружба прекрасна, замечательна, но никогда ему не произнести такие непривычные слова. Зато Лидия ничуть не смущалась.

– Не знаю, много ли найдется людей, кто ради друга остался бы в этом аду на два долгих года, если мог уехать.

Коротышка фыркнул.

– Знаете, там время – прямая противоположность деньгам: там каждый грош – событие, а прорва времени считай ничто. Шесть су хранишь, будто целое богатство, а два года – про них и говорить-то не стоит.

Лидия тяжело вздохнула. Ясно было, о чем она думает.

– Берже там не очень надолго?

– Пятнадцать лет.

Все помолчали. Видно было, с каким трудом Лидия пытается справиться с волнением, но когда она заговорила, голос ее дрогнул.

– Вы его видели?

– Да. Я с ним разговаривал. Вместе в больнице лежали. Я лег, чтоб мне вырезали аппендикс, думал, вернусь во Францию, и не ровен час придется вырезать, на что это мне. А Берже работал на строительстве дороги из Сен-Лорана в Кайенну, и его приступ малярии свалил.

– Я этого не знала. Получила от него одно письмо, но про это ни слова.

– Там у всех малярия, рано или поздно не минуешь. Чего тут расписывать. Ему повезло, что его так скоро схватило. Он приглянулся военному доктору, Берже-то он грамотный, а такие там наперечет. Они там будут хлопотать, чтоб он, когда оклемается, остался при больнице. Теперь ему будет неплохо.

– Марсель мне сказал, вы мне что-то от него передадите.

– Да, он дал мне адресок.— Коротышка вынул из кармана пачку бумаг и протянул Лидии листок, на котором было что-то написано.— Если сможете послать денег, шлите по этому адресу. Но помните, он-то получит только половину.

Лидия взяла клочок бумаги, посмотрела на него и спрятала в сумочку.

– Что-нибудь еще?

– Да. Сказал, пускай, мол, не убивается. Сказал, ему не так уж плохо, могло быть и похуже, он освоился и вполне справится. И знаете, это верно. Берже не дурак. Много ошибок не наделает. Он такой, не ударит в грязь лицом. Вот увидите, будет жить не тужить.

– Как это не тужить?

– А вот даже не поверишь, к чему только человек не привыкает. Ваш-то малость шутник, верно? Бывало, такое скажет, мы покатываемся. Он в чем хочешь смешное увидит, это редкий человек может, а уж он может, это точно.

Лидия побледнела. Сидела молча, опустив глаза. Старший из тех двух обернулся к приятелю:

– Не помнишь, я тебе рассказывал, чего-то он сказал про того малого в больнице, который по глотке себя полоснул, обхохочешься.

– Ага, помню. Чего ж это он говорил? Начисто забыл, а только помню, хохотал до упаду.

Все надолго замолчали. Казалось, говорить больше не о чем. Лидия задумалась, а два приятеля обмякли на стульях, безучастным взглядом уставились в пространство, будто куклы, которых продают на бульваре Монпарнас, те, что, покачиваясь, идут и идут по кругу и вдруг застывают. Лидия вздохнула.

– Наверно, мы обо всем переговорили,– сказала она.– Спасибо, что пришли. Надеюсь, вы найдете работу, такую, какую ищете.

– Армия спасения для нас старается. Я так думаю, что-нибудь да получится.

Чарли вынул из кармана бумажник.

– Вы, вероятно, не слишком богаты. Я хотел бы немного помочь вам продержаться, пока не найдете работу.

– Вот это пригодится,– просияв, сказал старший.– Армия спасения кормит и койку дает, а больше она ничего не может.

Чарли протянул им пятьсот франков.

– Отдайте парнишке, пускай хранит. Он мастер зажать монету, что твой крестьянин, страх не любит выкладывать деньги, он какие-нибудь пять франков надолго растянет, почище любой старухи.

Все вместе они вышли из кафе и обменялись рукопожатиями. За тот час, что они провели в кафе, два приятеля стали раскованней, но на улице опять оробели. Казалось, они съежились, словно хотели стать как можно незаметней, и украдкой поглядывали по сторонам, будто боялись, что кто-

нибудь сейчас на них набросится. Плечом к плечу, с опущенными головами, они пошли прочь и наконец, быстро оглянувшись, скрылись за углом.

– Вероятно, я просто предубежден, но, должен признаться, мне было не по себе в их обществе,– сказал Чарли.

Лидия не отозвалась. В молчании шли они по бульвару, в молчании обедали. Лидия была погружена в свои мысли. Чарли догадывался, о чем они, и чувствовал, что разговор о пустяках она поддерживать не станет. Да ему и самому было о чем подумать. Недавняя беседа с двумя каторжниками, вопросы, которые им задавала Лидия, воскресили подозрения, которые посеял у него в душе Саймон, и хотя он пытался их отместить, они затаились в глубине сознания, точно затхлый запах давно запертой комнаты, который не в силах развеять никакой сквозняк. Ему было неприятно, скорее не потому, что он не желал, чтоб его дурачили, а потому, что не хотелось думать, будто Лидия лгунья и лицемерка.

– Я хочу пойти повидать Саймона,– сказал он, когда они кончили с обедом.– Я приехал в Париж главным образом, чтобы побыть с ним, а мы толком и не виделись. Надо хотя бы пойти попрощаться с ним.

– Да, конечно, надо.

Чарли собирался еще и вернуть Саймону статью и газетные вырезки, которые тот давал ему читать. Все это лежало у него в кармане.

– Если вы хотите провести вечер со своими русскими друзьями, я сперва завезу вас к ним.

– Нет, я вернусь в гостиницу.

– Боюсь, я приду поздно. Вы ведь знаете, какой Саймон, когда разговорится. Вам одной не будет скучно?

– Я не привыкла к такому вниманию,– улыбнулась Лидия.– Нет, мне скучно не будет. Мне не часто удастся побыть одной. Посидеть в одиночестве и знать, что никто не войдет... да большей роскоши и представить нельзя.

Они расстались, и Чарли направился к Саймону. Он знал, в такое время он скорее всего застанет приятеля дома. Он позвонил, и Саймон открыл дверь. Он был в пижаме, в халате.

– Привет! Я так и думал, тебя может занести. Мне утром не надо было выходить, и я не одевался!

Он не брился и, похоже, не мылся тоже. Длинные прямые волосы встрепаны. В тусклом свете, что просачивался в комнату через глядящее на север окно, его беспокойные сердитые глаза на бледном худом лице казались угольно-черными, под глазами залегли густые тени.

– Садись,– продолжал он.– У меня сегодня в камине огонь вовсю и здесь тепло.

И вправду было тепло, но комната оставалась все такая же заброшенная, безрадостная, неприбранная.

– Твой роман по-прежнему в разгаре?

– Я прямо от Лидии.

– Завтра возвращаешься в Лондон? Смотри, чтоб она не слишком много с тебя содрала. Чего ради тебе помогать ей вытащить из тюрьмы ее отвратного супруга.

Чарли вынул из кармана газетные вырезки.

– По твоей статье я понял, что он тебе в какой-то мере симпатичен.

– Симпатичен? Нет. Он был мне интересен – уж слишком явный подлец, без стыда и совести. Я восхищался его самообладанием. При других обстоятельствах он мог бы стать очень полезным орудием. Во время революции смельчаку вроде него, который не знает сомнений и ни перед чем не остановится,– такому цены нет.

– По-моему, не очень надежное было бы орудие.

– Кажется, это Дантон говорил, что в революции на поверхность поднимается пена общества, негодяи и преступники? Вполне естественно. От них требуется определенная работа, а когда они сослужат службу, от них можно избавиться.

– Я вижу, у тебя все продумано, дружище,– с веселой усмешкой сказал Чарли.

Саймон нетерпеливо передернул костлявыми плечами.

– Я изучал французскую революцию и коммуну. Русские тоже их изучали и многому научились, но у нас теперь есть преимущество – мы можем воспользоваться уроками, которые извлекли из последующих событий. В Венгрии наломали дров, зато в России уроки не прошли даром, и Италия и Германия тоже не сплеховали. Были бы мы не дураки, мы бы смогли повторить их успехи и избежать их ошибок. Революция Белы Куна не удалась, потому что народ голодал. Когда поднялся пролетариат, совершить революцию оказалось сравнительно легко, но пролетариат надо кормить. Нужно все так организовать, чтобы транспорт работал бесперебойно и провизии было вдоволь. Вот, кстати, почему власть, ради захвата которой пролетариат совершал революцию, не должна ему достаться, она должна попасть в руки небольшой кучки разумных вождей. Народ не способен собой управлять. Пролетарии – рабы, а рабам нужны хозяева.

– Как я понимаю, ты теперь вряд ли станешь называть себя подлинным

демократом,— сказал Чарли с насмешливым огоньком в глазах.

Саймон нетерпеливо отмел его ироническое замечание.

— Демократия — пустая выдумка. Неосуществимый идеал, которым пропагандист размахивает перед массами, как машут морковкой перед мордой осла. Эти знаменитые девизы девятнадцатого века — свобода, равенство, братство — просто чушь. Свобода? Массы не нуждаются в свободе, а получив ее, не знают, что с ней делать. Их обязанность и их удовольствие — служить; только таким образом они обретают уверенность в завтрашнем дне, а это и есть их сокровенное желание. Уже давным-давно решено, что единственная стоящая свобода — это свобода поступать по справедливости, а что справедливо, решает тот, у кого сила. Справедливость — это идея, рожденная общественным мнением и предписанная законом, но общественное мнение создают те, у кого власть, они и навязывают свою точку зрения, а могущество закона опирается на силу. Братство? Что ты подразумеваешь под братством?

Чарли на минуту задумался.

— Ну, не знаю. Наверно, это ощущение, что все мы члены одной огромной семьи и здесь на земле нам отпущен такой краткий срок, что надо жить в согласии друг с другом.

— И больше ничего?

— Ну, только что жизнь трудная штука, и, должно быть, каждому будет легче, если относишься ко всем по-доброму, порядочно. У людей множество недостатков, но и много хорошего. Чем лучше знаешь человека, тем милей он оказывается. Значит, наверно, если отнестись к нему с доверием, он пойдет тебе навстречу.

— Чепуха, мой дорогой, чепуха. Ты sentimentalный дурак. Во-первых, неправда, что при ближайшем знакомстве человек оказывается лучше, ничего подобного. Вот почему следует обзаводиться только знакомыми и ни в коем случае не друзьями. Знакомый оборачивается к тебе только своими лучшими сторонами, он внимателен, учтив, он скрывает свои дурные свойства за маской общепринятой благопристойности. Но сойдись с ним поближе, и он отбросит маску, не даст себе труда притворяться, и перед тобой предстанет существо такое низкое, натура такая заурядная, слабая, продажная, что ты ужаснешься, если еще не понял,— таков человек по природе своей и осуждать его так же глупо, как осуждать волка за волчий аппетит или кобру за смертельный укус. Суть человеческой природы — эгоизм. В эгоизме и сила его и слабость. За два года, что я работаю в газете, мне довелось ох как хорошо узнать людей. Тщеславные, ограниченные, бессовестные, корыстолюбивые, двуличные и

малодушные, они готовы предать друг друга даже не ради собственной выгоды, а из одной только злобы. С пускаются во все тяжкие, лишь бы подложить соперник свинью. Пойдут на любое унижение ради титула или ордена. И не только политики. Адвокаты, врачи, коммерсанты, художники, литераторы. А как они жаждут славы! Готовы кланяться и льстить дрянному журналистишке, только бы он превознес их в печати. Богач пойдет на любую гнусность, лишь бы заполучить побольше денег, а ему и так их девать некуда. Честность, что в политике, что в коммерции существует лишь постольку, поскольку позволяет им повернуть какое-нибудь дельце. Сдерживает их только страх. Потому что они трусы. И все их торжественные заверения – это лишь высокопарная болтовня, бесстыдная ложь, самообман. Поверь мне, не очень-то много сохранишь иллюзий насчет человеческой природы, занимаясь делом, которым я занят с тех пор, как бросил Кембридж. Люди мерзки. Они трусы и лицемеры. Я их терпеть не могу.

Чарли опустил глаза. Неловко ему было сказать то, что хотелось. Это звучало глуповато.

– И ты их совсем не жалеешь?

– Жалеть? Жалость – это по бабьей части. Жалость вызывает нищий, ведь нет у него ни силы воли, ни трудолюбия, ни мозгов, чтоб заработать на сносную жизнь. Жалость – это лесть, которой жаждет неудачник, чтоб сохранить самоуважение. Жалость – это ничтожная подачка потерпевшим крушение, которая позволяет преуспевающей публике с чистой совестью наслаждаться своим преуспеванием.

Саймон сердито запахнул халат. Чарли узнал свой старый халат, он когда-то собрался его выкинуть, а Саймон попросил отдать ему, Чарли засмеялся, сказал, что лучше подарит ему новый, но Саймон стоял на своем, говорил, ему и этот вполне подойдет. Чарли тогда смущенно подумал, уж не обиделся ли на него Саймон за такой пустячный подарок.

– Равенство? – продолжал Саймон. – Равенство – отъявленная чепуха, самая нелепая из всех, какие когда-либо смущали человечество. Словно люди равны или могут быть равны! Говорят о равных возможностях. На что людям равенство, ведь им от него нет никакого толка. Люди рождаются неравными, они разные по характеру, жизнеспособности, по складу ума; и никакие равные возможности этого не возместят. В большинстве люди беспросветно тупы, Легковерные, поверхностные, беспомощные, откуда им получить равные возможности с теми, у кого есть характер, ум, трудолюбие, сила? И именно это естественное неравенство людей вышибает почву из-под ног демократии. Что за фарс – править

государством, считаясь с миллионами безмозглых! Во-первых, они сами не знают, что для них благо, и во-вторых, они неспособны воспользоваться благами, которых хотят. К чему же сводится демократия? К тому, насколько убедительны лозунги, измышленные хитрыми, корыстными политиками. При демократии господствуют слова, причем у оратора редко голова на плечах, а если он и башковитый, ему не хватает времени все обмозговать, его силы уходят на то, чтобы умаслить дурачье, от чьих голосов он зависит. Демократия испытывалась сто лет: теоретически это всегда была нелепость, а теперь мы знаем, что и на практике она провалилась.

– И несмотря на это ты намерен, если удастся, пройти в парламент. Бесчестный ты малый, друг мой Саймон.

– В Англии, в стране, приверженной традициям, где чтут искони установленные институты, только внутри этих институтов возможно обрести достаточное могущество, чтобы осуществить свои планы. Думаю, получить поддержку в стране и собрать вокруг себя необходимое число сторонников для *coup d'etat* (государственный переворот – фр.) может лишь видный член одной из ведущих партий в палате общин. А так как переворот может совершить только народ, это должна быть лейбористская партия. Даже когда созрели условия для революции, имущие классы все еще сохраняют достаточно привилегий, чтобы наилучшим для себя образом использовать неблагоприятные обстоятельства.

– Какие условия ты имеешь в виду? Поражение в войне и экономическую катастрофу?

– Именно. Даже и тогда страдания имущих классов весьма относительно. Ну станут они пореже раскатывать в своих автомобилях или закроют свои загородные дома, отчего прибавится безработных, а их собственная жизнь не так уж и осложнится. Но народ голодает. И когда ты станешь говорить, что ему нечего терять, кроме своих цепей, он будет тебя слушать, и когда ты станешь махать у него перед носом наживкой из чужой собственности, он даст волю своей жадности и зависти, которые он вынужден был подавлять, пока не мог дать им волю. С такими девизами, как свобода и равенство, его можно будет повести в атаку. История последней четверти века показывает, что он непременно победит. Собственность расслабила имущие классы, они гуманны и сентиментальны, нет у них ни воли, ни мужества, чтобы себя защитить; их мнения не совпадают, и в решающую минуту, когда надо действовать немедленно и безжалостно, они теряют время во взаимных упреках. Но толпой, этим орудием вождей революции, движет не разум, инстинкт, она поддается гипнозу, и лозунгами ее можно довести до неистовства; она

единый организм и потому равнодушна к смерти в своих рядах; она не ведает ни жалости, ни милосердия. Она с радостью разрушает, потому что, разрушая, осознает свою силу.

– Ты, вероятно, не станешь отрицать, что это ведет к убийству тысяч ни в чем не повинных людей и к разрушению институтов, на создание которых потребовались сотни лет.

– Революция не может обойтись без разрушения и убийства. Еще Энгельс много лет назад сказал, что надо быть готовым к тому, что имущие классы будут всеми способами отстаивать свою власть. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Демократия приписала человеческой жизни до нелепости большое значение. В нравственном отношении человек равным счетом ничего не стоит, и подавить его можно безо всякого ущерба. Биологически он вообще ничего из себя не представляет; с какой стати приходиться в ужас, убив человека, если ничего не стоит прихлопнуть муху.

– Я начинаю понимать, почему тебя заинтересовал Робер Берже.

– Он меня заинтересовал, потому что он убил не из каких-то низких побуждений, не ради денег или из ревности, но ради самоутверждения, в доказательство своей силы.

– Теперь, разумеется, остается доказать, что коммунизм осуществим.

– Коммунизм? Кто говорит о коммунизме? Теперь уже все знают, коммунизм вздор. То была мечта оторванных от жизни идеалистов, которые понятия не имели о подлинной действительности. Коммунизм – соблазн, которым прельщают трудящихся, чтобы они взбунтовались, так же как крик о свободе и равенстве воодушевляет их на риск. В мире всегда были эксплуататоры и эксплуатируемые. И всегда будут. И так и должно быть, потому что огромная масса людей по самой своей природе рабы, они не способны собой управлять, и для их же блага им нужны хозяева.

– Я бы сказал, потрясающее заявление.

– Это не моя мысль, дорогой, – усмехнулся Саймон. – Это Платон, но с тех пор, как он это сказал, история вполне подтвердила его правоту. Каков результат революций, которые совершились на нашем веку? Народ не лишился хозяев, только сменил их, и никогда власть не правила такой железной рукой, как при коммунизме.

– Значит, народ обманули?

– Конечно. А почему бы и нет? Дурачье и получило по заслугам. Какое это имеет значение? Они выиграли весьма существенно. От них больше не требуется думать о себе, им говорят что надо делать, и покуда они послушны, им дается уверенность в завтрашнем дне, которой они всегда так жаждали. Диктаторы нашего времени наделали ошибок, и мы можем

учиться на их промахах. Они забыли изречение Макиавелли: народ можно лишить политической свободы, если предоставить ему свободу в частной жизни. Я предоставил бы народу вообразить себя свободным, дав ему ту меру личной свободы, которая не угрожает безопасности государства. Я национализировал бы промышленность в той степени, которая была бы приемлема для человеческой особи, и тем самым у людей появилась бы иллюзия равенства. И поскольку все они окажутся под одним и тем же ярмом, у них даже появится иллюзия братства. Не забудь, диктатор может сделать для блага народа очень много такого, что демократии не дано, ведь ей приходится считаться с законными интересами, завистью и личными амбициями, и потому у диктатора есть беспримерная возможность облегчить участь масс. Вчера я был на большом коммунистическом митинге, и чуть не на каждом знамени я читал слова: Мир, Работа, Благополучие. Что может быть естественней этих требований? И однако, после ста лет демократического правления люди все еще этого требуют. Диктатор может их удовлетворить одним росчерком пера.

– Но ты же сам признался, что народ только сменил хозяина. Его по-прежнему эксплуатируют. Почему ты думаешь, что он будет с этим мириться?

– А потому, что волей-неволей он вынужден будет мириться. В современных условиях, при самолетах, которые бомбят, и броневиках, вооруженных станковыми пулеметами, диктатор может подавить любое восстание. То же могли бы сделать и имущие классы, но опыт показал, что им не хватает стойкости. Они убивают сотню людей, тысячу, а потом пугаются, ищут компромисса, готовы идти на уступки, но они спохватываются слишком поздно, время для компромиссов и уступок упущено, и их уничтожают. А хозяина народ примет, народ понимает, что хозяин и лучше его и умней.

– А почему это он лучше и умней?

– Потому что сильнее. Раз на его стороне сила, значит, то, что, по его мнению, правильно, вправду правильно, и то, что хорошо, хорошо.

– Это просто как дважды два четыре, но еще менее убедительно, – довольно дерзко отозвался Чарли.

Саймон зло на него посмотрел.

– Тебе это показалось бы достаточно убедительным, если б от этого зависело не только твое благополучие, но сама жизнь.

– А кому, скажи на милость, предназначено выбирать хозяина?

– Никому. Его неизбежно выдвигают сами обстоятельства.

– А не слишком ли громко сказано?

– Он добирается до вершины, потому что в нем заложен инстинкт главаря. У него есть воля к власти. У него есть отвага и вдохновение, способности, ловкость и энергия. Он ничего не боится, потому что в опасности видит смысл жизни.

– Да, всякий скажет, сомнения тебе не занимать, Саймон, – улыбнулся Чарли.

– С чего ты взял?

– Ну, я думаю, тебе кажется, что ты обладаешь всеми этими свойствами.

– Почему ты так думаешь? Я знаю себя как мало кто. Знаю свои способности, но и пределы своих возможностей. У диктатора должна быть некая мистическая притягательная сила, благодаря которой его последователи впадают в своего рода религиозный восторг. Он должен обладать неким магнетизмом, чтобы они считали за честь отдать за него жизнь. Они должны чувствовать, что в служении ему их жизнь обретает величие. Во мне же ничего такого нет. Я скорее отталкиваю людей, а не привлекаю. Я способен утратить людей, но вызвать любовь не способен. Помнишь, что сказал Линкольн: «Некоторых людей можно дурачить все время, всех можно дурачить некоторое время, но все время дурачить всех невозможно». Но как раз это и должен делать диктатор: он должен дурачить всех все время, а это возможно только в одном случае – он должен дурачить и самого себя. Ни один диктатор не обладает ясным логичным умом. У диктатора есть внутренний импульс, сила, магнетизм, обаяние, но если повнимательней разобраться в его словах, увидишь, ум у него заурядный. Он может действовать, потому что им движет инстинкт, но стоит ему задуматься, и он сразу запутается. У меня слишком хорошая голова и слишком мало обаяния, какой из меня диктатор. Притом лучше, если диктатор, которого привел к власти пролетариат, будет сам пролетарий. Трудящимся классам будет легче признать его своим, и тем охотней они станут ему подчиняться и служить верой и правдой. Техника революционного переворота была усовершенствована. При определенных условиях группе решительных людей захватить власть нетрудно, а вот удержать ее трудно. Русская революция ясней ясного показала, что есть для этого только один путь, итальянская и германская революции это подтвердили, хоть и не так убедительно. И путь этот – террор. Рабочий, оказавшийся во главе государства, подвергается соблазнам, против которых может устоять только очень сильная натура. Чтобы лезть не вскружила голову, а непривычная роскошь не подорвала решимость, надо быть поистине сверхчеловеком. Рабочий по своей природе сентиментален,

сердце у него доброе, и потом, он жалостлив; получив все, чего хотел, он бездельничает и пускает все на самотек; он прощает врагов и изумляется, когда, едва отвернувшись, получает нож в спину. У него под боком должен быть кто-то, кто по своей натуре, по рождению, образованию, воспитанию равнодушен к искушениям властью и не восприимчив к расслабляющему влиянию успеха.

Все это время Саймон ходил взад-вперед по кабинету, а сейчас, на полпути к другу, остановился. Бледный, небритый, с взлохмаченными волосами, в халате, который кое-как прикрывал его тощие руки и ноги, он выглядел нелепо. Но в прошлом, не таком уж далеком прошлом, другие молодые люди, такие же бледные, тощие, неухоженные, в поношенных костюмах или студенческих тужурках ходили по своим убогим жилищам и высказывали столь же, казалось бы, несбыточные мечты; и однако, как ни странно, время и благоприятный случай помогли их мечтам осуществиться, и, сквозь кровь прорываясь к власти, они держали в своих руках жизнь миллионов.

– Ты о Дзержинском когда-нибудь слышал?

Чарли бросил на Саймона испуганный взгляд. Имя это упоминала Лидия.

– Да, как ни странно, слышал.

– Он был из благородного сословия. Его предки с семнадцатого века были польскими землевладельцами. Он был культурный, начитанный человек. Ленин и старая гвардия – большевики – совершили революцию, но без Дзержинского ее задавили бы в первый же год. Дзержинский понимал, спасти революцию может только террор. Он обратился с просьбой поставить его во главе полиции и организовал Чека. Он сделал ее орудием подавления, и она действовала с точностью отлично отлаженного механизма. При исполнении своих обязанностей он не давал воли ни любви, ни ненависти. Он был невероятно работоспособен. Он ночь напролет сам допрашивал подозреваемых, и говорят, научился так мастерски читать в сердцах людей, что от него невозможно было ничего утаить. Он изобрел систему заложников, ни одна революция не создала системы, которая так успешно поддерживала бы порядок. Собственной рукой он подписал сотни, нет, тысячи смертных приговоров. Жил он по-спартански. Сила его заключалась в том, что для себя ему не нужно было ничего. Единственная его цель была – служить революции. И он сделался одним из самых могущественных людей России. Народ боготворил и бурно приветствовал Ленина, но правил народом Дзержинский.

– Так вот какую роль ты хотел бы играть, случись в Англии

революция?

– Я бы отлично к ней подошел.

Чарли улыбнулся ему своей мальчишеской, добродушной улыбкой.

– Пожалуй, я сослужил бы Англии хорошую службу, задуши я тебя прямо сейчас. А ведь, знаешь, я могу.

– Представляю. Но ты побоишься последствий.

– Не думаю, чтоб меня уличили. Никто не видел, что я пришел. Только Лидия знает, что я собирался зайти к тебе, но она меня не выдаст.

– Я не об этих последствиях думал. Я о совести твоей думал. Тебе для этого недостает твердости, друг мой Чарли. Ты слабак.

– Пожалуй, ты прав.

Чарли помолчал.

– Ты говоришь, Дзержинскому ничего не нужно было для себя, – сказал он, – а тебе ведь нужна власть.

– Только как средство.

– Для какой цели?

Саймон посмотрел на него в упор, Чарли показалось, что глаза его зажглись чуть ли не безумным светом.

– Чтобы состояться. Удовлеть свой творческий инстинкт. Употребить способности, которыми меня одарила природа.

Чарли не нашелся что ответить. Поглядел на часы и встал.

– Мне пора.

– Я больше не хочу с тобой видеться, Чарли.

– А тебе и не придется. Я завтра уезжаю.

– Я никогда больше не хочу тебя видеть.

Чарли растерялся. Посмотрел Саймону в глаза. Глаза смотрели мрачно, безжалостно.

– Вот как? Почему?

– У меня с тобой все кончено.

– Навсегда?

– Окончательно.

– И не жаль тебе? Я ведь был тебе неплохим другом, Саймон.

Саймон молчал не долее чем требуется, чтобы упал с дерева на землю перезревший плод.

– Ты мой единственный друг, другого у меня не было.

Голос его срывался, и так ясно было его отчаяние, что Чарли, взволнованный, порывисто протянул руки, шагнул к нему.

– Саймон, милый, зачем ты так терзаешь себя?

В измученных глазах Саймона вспыхнула ярость, и, сжав кулак, он изо

всех сил ударил Чарли в челюсть. Удар был так неожидан, что Чарли покачнулся, поскользнулся на не покрытом ковром полу и упал ничком; мигом вскочил и, вне себя от гнева, кинулся к Саймону, чтобы дать ему по заслугам, так бывало прежде не раз, когда тот доводил его до белого каления. Саймон не шевельнулся, стоял, заложив руки за спину, даже не пытался защищаться, словно готов был охотно принять наказание, и такая мука, такой ужас были на его лице, что Чарли сразу остыл. Замер на месте. Челюсть болела, но он добродушно усмехнулся.

– Дурак ты, Саймон,– сказал он.– Ты же мог меня искалечить.

– Убирайся, бога ради. Беги к своей треклятой шлюхе. Я по горло сыт тобой. Пошел вон, вон!

– Ну, что ж, дружище, я ухожу. Но сперва вот небольшой подарок, я привез тебе ко дню рожденья, к седьмому.

Он вынул из кармана часы в кожаном футляре, из тех, что открываются, когда раздвигаешь футляр, и при этом сами заводятся.

– На них кольцо, так что можешь повесить их на цепочку для ключей.

Он положил часы на стол. Саймон и не посмотрел на них. Чарли бросил взгляд на Саймона, глаза его весело поблескивали. Он ждал, не скажет ли тот хоть слово, да так и не дождался. Прошел к двери, растворил ее и вышел вон.

Несмотря на поздний час, бульвар Монпарнас был ярко освещен. Приближался Новый год, и все дышало предчувствием праздника. На улицах толпы, кафе набиты битком. Все в отличном расположении духа. А Чарли был угнетен, его мучил стыд, как бывает, когда придешь в гости, надеясь развлечься, но ведешь себя нелепо, бестактно, и уходишь сознанием, что произвел прескверное впечатление. Ему полегчало, когда он вновь оказался в убогом номере гостиницы. Лидия сидела у зажженного камина и шила, и не продохнуть было от табачного дыма, видно, она курила сигарету за сигаретой. А в общем милая, домашняя картина. Будто какой-нибудь интерьер Вилара, с его задушевым уютным очарованием, но написанный Утрилло, так что есть в нем еще и трогательная скудость. Лидия встретила Чарли своей тихой, дружелюбной улыбкой.

– Как ваш друг Саймон?

– Совсем спятил.

Чарли закурил трубку, сел на пол перед камином, прислонясь к сиденью стула, на котором сидела Лидия. Эта близость успокаивала. Он рад был, что она молчит. Он был взбудоражен чудовищными разговорами Саймона. Из головы не шла тощая фигура, бледное лицо с двухдневной щетиной, со следами недоедания и переутомления, вот он ходит взад-

вперед по комнате в старом халате и с хладнокровной, безжалостной враждебностью выкладывает бредовые свои мысли. Но за этой картиной виделась другая, незабытая – мальчик с большими темными глазами, который, казалось, жаждет любви и, однако, отталкивает ее, мальчик, с кем он, Чарли, в дни рождественских каникул ходил в цирк и который так бурно радовался непривычному удовольствию, с кем катался на велосипеде или отправлялся в другие загородные прогулки, кто порою бывал весел и забавен, с кем было радостно болтать, и смеяться, и озорничать, и валять дурака. Невероятно, что тот мальчик мог превратиться в этого молодого человека, это надрывало душу, Чарли готов был заплакать.

– Хотел бы я знать, что в конце концов станет с Саймоном, – пробормотал он.

Он сам не заметил, как произнес эти слова вслух, и удивился, когда Лидия ответила ему, чуть не подумал, что она прочла его мысли.

– Англичан я не знаю, – сказала она. – Но будь он русский, я бы сказала, что он либо станет опасным агитатором, либо покончит с собой.

Чарли фыркнул.

– Видите ли, мы, англичане, обладаем замечательной способностью обращать заблуждения молодости в добротную пищу. С таким же успехом он может в конце концов стать редактором «Таймс».

Чарли поднялся и сел в кресло, единственное место в комнате, где можно было посидеть с удобством. Задумчиво посмотрел на Лидию, усердно работающую иглой. Хотелось кое-что ей сказать, но от мысли об этом он разволновался, и, однако, завтра он уезжает и другого случая сказать, возможно, уже не будет. Чарли терзало подозрение, посеянное Саймоном в его бесхитростной душе. Если Лидия все время его дурачила, надо бы это узнать, и тогда при расставании он просто пожмет плечами и с чистой совестью забудет и думать о ней. Он решил немедленно узнать правду, но стеснялся напрямик сделать ей некое предложение и потому начал издали:

– Я вам не рассказывал про свою двоюродную бабушку Марту?

– Нет.

– Она была старшим ребенком моего прадеда. Старая дева, лицо мрачное, землистое и все в морщинах, столько морщин я больше ни у кого не видел. Маленького росточка, тонюсенькая, губы поджаты и вечно кислая мина, осуждающий взгляд. В детстве я ее до смерти боялся. Она безмерно восхищалась королевой Александрой и до конца своих дней носила такую же прическу, как королева, только у нее это был парик. Одевалась всегда в черное, длинные, широчайшие юбки, талия в рюмочку и высокие, до самых

ушей воротники. На шее она носила тяжелую золотую цепь, с которой свешивался большой золотой крест, а на запястьях золотые браслеты. Потрясающе благовоспитанная женщина. Всю жизнь она так и прожила в огромном доме, который построил для себя старик Сайберт Мейсон, когда стал преуспевать, и решительно ничего там не меняла. Входишь в этот дом и оказываешься в семидесятих годах восемнадцатого века. Умерла она всего несколько лет назад в очень солидном возрасте и оставила мне пятьсот фунтов.

– Очень мило.

– Я хотел пустить их на ветер, но отец уговорил меня отложить их. Сказал, когда мне придет время жениться и я захочу обставить квартиру, я еще как буду рад, что у меня кое-что отложено. Только похоже, я не женюсь в ближайшие годы, и эти деньги мне не так уж нужны. Хотите, я дам вам из них двести фунтов.

Лидия продолжала шить и приветливо, без особого интереса, больше из вежливости, слушала рассказ, который мало значил для нее, но при этих словах ткнула иголку в материю и подняла на Чарли глаза.

– С какой стати?

– Я подумал, они могут вам пригодиться.

– Не понимаю. Что я такое сделала, что вам захотелось подарить мне двести фунтов?

Чарли замялся. Лидия смотрела на него своими голубыми, большими, но неяркими глазами, смотрела так внимательно, словно пыталась заглянуть ему в душу. Чарли отвернулся.

– Вы могли бы очень помочь Роберу,

На ее губах появилась слабая улыбка. Она поняла.

– Ваш друг Саймон сказал вам, что я пошла в S rail, чтобы заработать на побег Роберу?

– С чего вы взяли?

У нее вырвался презрительный смешок.

– Вы очень наивны, бедняжка. Это все их домыслы. Неужели вы думаете, я стану кого-то разубеждать, неужели думаете, меня бы поняли, скажи я правду? Не нужны мне ваши деньги, мне не на что их употребить.– И продолжала мягче: – Так славно, что вы это предложили. Милое вы существо, но такой еще ребенок. Неужели вам не понятно, ведь то, что вы предлагаете, преступление, и оно запросто может привести вас в тюрьму.

– Ладно, оставим это.

– Вы не поверили тому, что я вам рассказывала третьего дня?

– Мне начинает казаться, что в этом мире очень трудно понять, чему

можно верить. В конце концов я вам никто, чего ради вы стали бы говорить мне правду, если вам не хотелось. И еще эти парни сегодня утром, и они вам дали адрес, по которому можно послать деньги. Вот я и сопоставил то и другое, что ж удивительного.

– Я буду рада, если смогу послать Роберу немного денег, пусть купит себе сигарет и кой-какую еду. Но все, что я вам говорила, правда. Я не хочу, чтобы он сбежал оттуда. Он согрешил и должен пострадать.

– Я просто думать не могу, что вы опять вернетесь в это ужасное заведение. Теперь я немного вас знаю, и мне невыносимо думать, что вы, именно вы, живете такой жизнью.

– Но я же вам сказала, я должна искупить грех, должна сделать то, чего сам он сделать не в силах.

– Но это безумие. Что-то болезненное. Бессмыслица какая-то. Если бы вы верили в сурового Бога, который требует возмездия и готов принять ваши страдания, ну, как частичную плату за зло, которое содеял Робер, я бы еще понял вас, хотя все равно считал бы это чудовищным заблуждением, но вы говорили, вы в Бога не верите.

– С чувством спорить невозможно. Конечно же, это неразумно, но разум тут ни при чем. Я не верю в Бога христиан, который пожертвовал сыном ради спасения человечества. Это миф. Но откуда бы взяться мифу, если он не выражал бы некую глубинную тягу, присущую людям? Я сама не знаю, во что я верю, ведь это чутье, а как описать чутье словами? Чутье подсказывает мне, что сила, которая правит нами, – людьми, животными, всем на свете, это сила непонятная и жестокая, и за все надо платить. Сила эта требует око за око и зуб за зуб, и как бы мы ни увиливали и ни изворачивались, мы вынуждены подчиниться, потому что эта сила есть мы сами.

Чарли безнадежно махнул рукой. Чувство у него было такое, словно он пытался разговаривать с кем-то, чей язык ему непонятен.

– Сколько еще времени вы останетесь в S rail?

– Не знаю. Пока не сделаю то, что мне предназначено. Пока не придет час, когда почувствую всем своим существом, что Робер освобожден, не из тюрьмы, но от своего греха. Одно время я надписывала адреса на конвертах. Конвертов многие сотни, и кажется, им не будет конца, пишешь, пишешь, и долгое время кажется, сколько их было, столько и есть, и вдруг, когда меньше всего этого ждешь, оказывается, надписала последний конверт. Очень странное ощущение.

– И тогда вы уйдете и присоединитесь к Роберу?

– Если он захочет.

– Ну конечно захочет,– сказал Чарли.

С бесконечной печалью Лидия посмотрела на него.

– Не знаю.

– Как вы можете сомневаться? Он вас любит. В конце концов, подумайте, что должна значить для него ваша любовь.

– Вы слышали, что сказали сегодня эти двое. Он весел, ему повезло, он вполне освоился. Так и должно было быть. Так уж он устроен. Он любил меня, да, знаю, но я знаю также, что любить долго он не способен. Даже если бы ничего не случилось, он не навсегда остался бы со мной. Я с первых дней это знала. И когда настанет час и я смогу уйти, как я могу надеяться, что к тому времени он меня не разлюбит?

– Но если вы так думаете, мыслимо ли и дальше вести такую жизнь?

– Глупо, да? Он жестокий, себялюбивый, бессовестный и безнравственный. Мне все равно. Я не уважаю его, не доверяю ему, но люблю. Люблю всем телом, всеми помыслами, чувствами, всем своим существом.– Она заговорила другим тоном, шутливым.– Теперь, когда я вам это сказала, вам ясно, я презренная женщина, не достойная ни интереса вашего, ни сочувствия.

Чарли с минуту подумал.

– Что ж, не стыжусь сказать, все это выше моего понимания. Но хоть ему и тяжело приходится, я, пожалуй, предпочел бы оказаться на его месте, а не на вашем.

– Почему?

– Что ж, скажу вам откровенно, по-моему, нет ничего мучительней, чем всем сердцем любить человека и знать, что ему грош цена.

Лидия взглянула на него задумчиво, не без удивления, но ничего не сказала.

Поезд отходил в полдень. Чарли несколько удивился, когда Лидия сказала, что хочет его проводить. Они поздно завтракали, уложили чемоданы. Перед тем как пойти вниз заплатить по счету, Чарли сосчитал деньги. Их осталось очень много.

– Сделайте мне одолжение,– попросил он.

– Какое?

– Позвольте оставить вам немного, вдруг понадобятся.

– Не нужны мне ваши деньги,– улыбнулась Лидия.– Если хотите, можете мне дать тысячу франков для Евгении. Для нее это будет неожиданное счастье.

– Хорошо.

Они сперва заехали на улицу Шато д'О, где жила Лидия, и она оставила у консьержки свой чемоданчик. Потом поехали на вокзал. Лидия шла с Чарли по перрону, и он купил несколько английских газет. Отыскал свое место в пульмановском вагоне. Лидия вошла вместе с ним, огляделась.

– Знаете, я еще никогда не была в вагоне первого класса,– сказала она.

Чарли внутренне содрогнулся. Вдруг представилась жизнь, начисто лишенная не только роскоши, доступной богатым, но даже удобств, которыми пользуются состоятельные люди. Острая печаль пронзила его при мысли о том убогом существовании, которое всегда было и всегда будет уделом этой женщины.

– Ну, в Англии я обычно езжу третьим классом,– словно оправдываясь, промолвил Чарли.– Но отец сказал, в Европе надо ездить как подобает джентльмену.

– Это производит хорошее впечатление на туземцев.

Чарли засмеялся, покраснел.

– У вас особый дар сказать такое, что я чувствую себя дурак дураком.

Они ходили взад-вперед по перрону и, как всегда бывает в таких случаях, подыскивали, что бы еще сказать, и ничего путного не приходило на ум. Чарли спрашивал себя, мелькнула ли у нее мысль, что, по всей вероятности, они никогда в жизни больше не увидятся. Как странно, пять дней они были почти неразлучны, а уже через час будет казаться, словно они никогда и не встречались. Но поезд с минуты на минуту отойдет. Чарли протянул на прощанье руку. Лидия стояла, как-то особенно скрестив руки на груди, это всегда странно его трогало, так она лежала, скрестив руки,

когда плакала во сне; и вот она подняла голову. С удивлением Чарли увидел, что она плачет. Он обнял ее и впервые поцеловал в губы. Лидия высвободилась из его объятий, отвернулась и поспешно пошла прочь. Чарли зашел в купе. Он был непривычно, до глубины взволнован. Но сытный обед с полубутылкой посредственного «Шабли» вернул утраченное спокойствие; а пообедав, он закурил трубку и принялся читать «Таймс». И утешился. В самом ощущении плотных газетных листов он находил некую истинно великолепную основательность. Посмотрел он иллюстрированные газеты. По натуре он не склонен был предаваться грусти. К тому времени, как они достигли Кале, он был уже в наилучшем настроении. Оказавшись на корабле, он выпил немного шотландского виски и принялся шагать по палубе, с удовольствием созерцая волны, которыми, как известно, правит Британия. Было замечательно увидеть белые утесы Дувра. Он с облегчением вздохнул, когда ступил на неподатливую английскую землю. Словно пробыл в разлуке с нею тысячу лет. Приятно было услышать голоса английских носильщиков, и он засмеялся в ответ на устрашающую грубость английских таможенников, которые обходятся с тобой точно с преступником. Еще два часа, и он снова дома. Вот и отец всегда повторял: «До чего ж приятно уехать из Англии, но и того приятней возвратиться».

Все пережитое в Париже уже затянулось легкой дымкой. Будто после ночного кошмара, когда просыпаешься весь дрожа, но день течет своим чередом, и память о нем бледнеет, и немного погода уже только и помнишь, что тебе привиделся дурной сон. Хотелось знать, встретит ли его кто-нибудь, как славно было бы увидеть на перроне родное лицо. На вокзале Виктории он вышел из вагона и сразу же увидел мать. Она обвила руками его шею и так расцеловала, словно они не виделись долгие месяцы.

– Я сказала твоему отцу, что, раз он тебя провожал, встречать буду я. Пэтси тоже хотела поехать, но я не позволила. Я хотела на несколько минут заполнить тебя для себя одной.

До чего же приятно, когда тебя окутывает эта надежная любовь.

– Глупышка ты, мама. Это же нелепо, такой ненастный вечер, на перроне продувает насквозь, ты же рискуешь простудиться насмерть.

Под руку, счастливые, они прошли к автомобилю. И поехали на Порчестер Клоуз. Лесли Мейсон услышал, как отворилась парадная дверь, и вышел в прихожую, сбегала по лестнице Пэтси и кинулась в объятия брату.

– Идем ко мне в кабинет, глотни спиртного. У меня там виски. Ты, должно быть, отчаянно промерз.

Чарли достал из кармана пальто два флакона духов, которые привез

матери и Пэтси. Их выбрала Лидия.

– Я привез их контрабандой,– с торжеством объявил он.

– Теперь эти две женщины будут благоухать, точно публичный дом,– расплывшись в улыбке, сказал Лесли Мейсон.

– Я привез тебе галстук от Шарве, па.

– Яркий?

– Очень.

– Отлично.

Все расхохотались, очень довольные друг другом. Лесли Мейсон налил немного виски и настоял, чтобы жена выпила, а то еще захворает.

– Были у тебя какие-нибудь приключения, Чарли? – спросила Пэтси.

– Ни единого.

– Лгунишка.

– Ну, ты нам все про все расскажешь потом,– сказала миссис Мейсон.– А сейчас пойди прими хорошую горячую ванну и переоденься к ужину.

– Для тебя все готово,– сказала Пэтси.– Тебе остается только развести в ванне ароматическую соль.

С ним обращались так, словно он только что вернулся с Северного полюса после неимоверно трудного путешествия. И сердце его ликовало.

– Хорошо вернуться домой? – спросила мать, глаза ее светились любовью.

– Замечательно.

Но когда Лесли, еще не окончательно одевшись, зашел к жене поболтать, пока она приводит в порядок лицо, она встревожено обернулась к нему.

– Он ужасно бледный, Лесли,– сказала она.

– Немного утомлен. Я и сам заметил.

– Он так осунулся. Мне это сразу бросилось в глаза когда он вышел из вагона, но только дома я его как следует разглядела. Он белый как полотно.

– Через день-другой отойдет. Должно быть, гульнул. По его виду я полагаю, он не одной красотке помог отложить деньги на почтенную старость.

Миссис Мейсон сидела у туалетного столика в китайском жакете, отороченном белым мехом, и старательно подводила карандашом брови, но при этих словах мужа резко обернулась.

– Ты что хочешь этим сказать, Лесли? Не хочешь же ты сказать, что он развлекался с этими мерзкими француженками?

– Ну оставь, Винития. Для чего, по-твоему, он поехал в Париж?

– Посмотреть картины, повидать Саймона, ну, и просто съездить во

Францию. Он же еще мальчишка.

– Не говори глупости, Винития. Ему двадцать три года. Надеюсь, ты не думаешь, что он девственник?

– Все мужчины омерзительны, вот что я думаю.

Голос ее сорвался, и, видя, что она не на шутку огорчилась, Лесли с нежностью потрепал ее по плечу.

– Милая, ты же не хочешь, чтобы твой единственный сын был евнухом, правда?

Миссис Мейсон и сама не знала, смеяться ей или плакать.

– Да нет, наверно, не хочу, – хихикнула она.

Полчаса спустя Чарли, не в самом парадном смокинге, с особым удовольствием, сел за стол в стиле чиппендейл с отцом в бархатном пиджаке, с матерью в свободного покроя розовато-лиловом шелковом платье и с Пэтси, как и положено девице, в розовом шифоне. Георгианское серебро, затененные свечи, кружевные салфеточки, купленные Винитией Мейсон во Флоренции, хрусталь – все было красиво, но главное, так знакомо. Картины на стенах, каждая со своей подсветкой, были вполне хорошие; и две горничные в аккуратной коричневой форме прибавляли еще один штрих. Все рождало ощущение защищенности, приятную уверенность, что внешний мир отсюда далек. Простая добротная пища рассчитана на здоровый аппетит, от нее не потолстеешь. В камине электрический костер с успехом изображает горящие поленья. Лесли Мейсон взглянул на меню.

– Вижу, ради возвращения блудного сына мы закололи жирного тельца, – сказал он, лукаво посмотрев на жену.

– Ты хорошо ел в Париже, Чарли? – спросила миссис Мейсон.

– Вполне. Я, знаете ли, не ходил по шикарным ресторанам. Мы обычно ели в рестораниках и в кафе Латинского квартала.

– А кто же это «мы»?

Чарли на миг замялся, покраснел.

– Да я обедал с Саймоном.

Был такой случай. Своим ответом он скрыл правду, но и не соврал. Миссис Мейсон перехватила многозначительный взгляд мужа, но не обратила на него внимания; с нежной любовью она все смотрела на сына, а тот, слишком бесхитростный, и не подозревал, что родители пытаются проникнуть ему в душу, разгадать тайны, которые он, быть может, там хранит.

– А картины какие-нибудь ты видел? – ласково поинтересовалась мать.

– Я был в Лувре. Мне очень понравился Шарден.

– Да что ты? – отозвался Лесли Мейсон. – По правде сказать, на меня он не производил особого впечатления. Мне он всегда казался скучным. – Глаза весело блеснули, и он сострил: – Между нами говоря, Шардену я предпочитаю Шарве. Он, по крайней мере, современен.

– Твой отец просто невозможен, – снисходительно улыбнулась миссис Мейсон. – Шарден очень добросовестный художник, один из мастеров восемнадцатого столетия, но, разумеется, не из великих.

Однако им, в сущности, куда больше хотелось рассказать, как провели время они сами, чем слушать рассказы Чарли. Праздник у кузена Уилфрида удался на славу, и они вернулись домой такие усталые, даже не успели поужинать, сразу легли. По этому видно, как они веселились.

– Пэтси сделали предложение, – сказал Лесли Мейсон.

– Интересно, правда? – воскликнула Пэтси. – К сожалению, бедняжке всего шестнадцать лет, ну я ему и сказала, что хоть я и дурная женщина, но еще не пала так низко, чтобы похищать младенцев из колыбели, и целомудренно поцеловала его в лоб и пообещала быть ему сестрой.

Пэтси продолжала болтать, Чарли с улыбкой ее слушал, а миссис Мейсон воспользовалась случаем повнимательней к нему присмотреться. Он и вправду очень хорош собой, а бледность ему к лицу. Со странным чувством думала она о том, как он, должно быть, нравился этим ужасным парижанкам; наверно, побывал в каком-нибудь их мерзком заведении; как он, должно быть, всех очаровал, такой молодой, чистый, обаятельный, рядом с толстыми, лысыми, гадкими стариками, к которым там привыкли! Интересно, что за девушка его привлекла, была бы хоть молоденькая и хорошенькая, говорят, мужчин привлекают женщины, похожие на их матерей. Уж наверно Чарли восхитительный любовник; она невольно гордилась им; как же иначе, ведь он ее сын, она носила его под сердцем. Милый. До чего он бледный и усталый. Странные мысли бродили в голове миссис Мейсон, этими мыслями она не поделилась бы ни с кем на свете: она грустила и слегка ревновала, да, ревновала к девушкам, с которыми он спал, но ощущала и гордость, да еще какую, ведь он сильный, красивый, настоящий мужчина.

Лесли прервал пустую болтовню Пэтси и мысли жены:

– Откроем ему наш замечательный секрет, Винития?

– Конечно.

– Только смотри, Чарли, никому ни слова. Это придумал кузен Уилфрид. Партии необходимо подыскать теплое местечко для одного из бывших губернаторов Индии, и Уилфрид решил уступить ему свое место, а в знак признательности его сделают пэром. Что ты на это скажешь?

– Великолепно.

– Он, конечно, притворяется, что его это мало трогает, а сам рад-радешенек. И знаешь, это и всем нам приятно. Ведь когда в семье есть пэр, это поднимает ее в глазах общества. Занимаешь более высокое положение. А только подумать, с чего мы начинали...

– Довольно, Лесли,– миссис Мейсон показала глазами на служанок,– незачем нам в это углубляться.– И когда после ее слов девушки вышли из столовой, прибавила: – У твоего отца была страсть рассказывать всем и каждому о своем происхождении. По-моему, пришло время понять: что было, то прошло. Не беда помянуть об этом среди людей нашего крута, на их взгляд, есть особый шик в том, что дед был садовником, а бабка кухаркой, но слугам об этом говорить незачем. Они только станут думать, будто мы им ровня.

– Я своего происхождения не стыжусь. В конце концов, самые прославленные английские роды начинали так же скромно, как мы. А мы разбогатели меньше, чем за сто лет.

Миссис Мейсон и Пэтси встали из-за стола, а Чарли остался с отцом выпить бокал портвейна. Лесли Мейсон рассказал ему, какой разгорелся спор в связи с тем, что кузен Уилфрид получит титул. Не так-то легко найти подходящее имя, какого нет больше ни у кого, так или иначе связанное с именем Уилфрида, и притом благозвучное.

– Я думаю, пора присоединиться к дамам,– сказал он, когда тема была исчерпана.– Перед сном мама, наверно, захочет сыграть роббер.

Но, уже выходя из столовой, приостановился, положил руку на плечо сыну.

– У тебя утомленный вид, дружок. Ты, я полагаю, кутнул в Париже. Что ж, дело молодое, этого следовало ожидать.– Он вдруг сконфузился.– Ну, да это не мое дело, есть вещи, в которые отцу с сыном вдаваться незачем. Но и в самых добропорядочных семьях случается всякое, и я что хочу сказать, если почувствуешь неладное, не смущайся, а сразу же обратись к доктору. Старик Синнери принимал роды, когда ты появился на свет, так что можешь его не стесняться. Он сама скромность и в два счета приведет тебя в порядок; счет будет оплачен, и никаких вопросов он тебе задавать не станет. Вот все, что я хотел тебе сказать, а теперь пойдем, мама заждалась.

Поняв, о чем толкует отец, Чарли покраснел как рак. Чувствовал, надо что-то сказать, но так и не нашелся.

Когда они вошли в гостиную, Пэтси играла вальс Шопена, а потом мать попросила и Чарли что-нибудь сыграть.

– Ты, наверно, ни разу не играл с тех пор, как уехал?

– Раз вечером играл на пианино в гостинице, но пианино было никудышное.

Он сел и опять заиграл ту пьесу Скрябина, которую он, по мнению Лидии, исполнил из рук вон плохо, и, едва начав, вдруг вспомнил тот душный прокуренный подвал, куда она его привела, и головорезов, с которыми он так подружился, и русскую певицу, изможденную, смуглую, точно цыганка, с огромными глазами, ту, что так трагически, самозабвенно пела буйные дикие песни. Сквозь ноты, которые он брал на клавиатуре, ему слышался ее пронзительный, резкий и, однако, глубоко волнующий голос.

У Лесли Мейсона было чуткое ухо.

– Ты играешь эту пьесу не так, как раньше,– сказал он, когда Чарли поднялся с табурета.

– Не думаю. Разве?

– Да, с совсем иным чувством. Какая-то дрожь через нее проходит, и это очень впечатляет.

– А мне больше нравится прежняя манера, Чарли. Сейчас ты в нее внес что-то болезненное,– сказала миссис Мейсон.

Сели за бридж.

– Ну вот, все опять по-старому,– сказал Лесли.– С тех пор, как ты уехал, нам не доставало нашего семейного бриджа.

У Лесли Мейсона была теория, что по тому, как человек играет в бридж, можно судить о его характере, а поскольку сам себе он казался удальцом, человеком щедрым и непосредственным, он объявлял больше взяток и беспечно удваивал ставки. Соблюдать правила ему казалось не по-английски. А миссис Мейсон, наоборот, играла строго по правилам Калбертсона и тщательно пересчитывала очки прежде, чем отваживалась объявить козырную масть. Она никогда не рисковала. Из всей семьи только Пэтси по какой-то прихоти судьбы смыслила в картах. Она играла смело, умно и, казалось, чуяла карточный расклад. И не скрывала презрения к родительской манере игры. За карточным столом она смотрела на обоих свысока. Игра шла в точности так же, как в многие и многие прежние вечера. Лесли наобъявлял взятки, дочь его перехитрила, он удвоил усилия и с торжеством проиграл тысячу четыреста; у миссис Мейсон было полно фигурных карт, но она не пожелала слушаться партнера и объявила шлем; Чарли играл небрежно.

– Ты, дурной, ты мне почему не вернул бубны? – крикнула Пэтси.

– А почему я должен возвращать бубны?

– Ты что, не видел, я играла девяткой, потом шестеркой?

– Нет, не видел.

– Господи, всю жизнь мне приходится играть с людьми, которые не умеют отличить туз пик от коровьего хвоста.

– Та ли взятка, эта ли, разница невелика.

– Взятка? Взятка? Взятка может изменить все на свете.

Никто не обращал внимания на досаду Пэтси. Все только смеялись, и она махнула на них рукой и тоже засмеялась. Лесли старательно вел счет и заносил в записную книжку. Они играли по пенни за сотню, но делали вид, будто играют по фунту стерлингов, так это выглядело лучше и было увлекательней. Иногда против своего имени Лесли вписывал суммы вроде полутора тысяч фунтов и пресерьезно изрекал, что, если так пойдет и дальше, он вынужден будет расстаться с автомобилем и ездить в контору автобусом.

Часы пробили двенадцать, и они пожелали друг другу спокойной ночи. Чарли ушел в свою теплую, уютную комнату и начал раздеваться, но вдруг почувствовал, что очень устал, и опустился в кресло. И решил перед сном выкурить еще трубку. Нынешний вечер был совсем такой же, как и все прежние несчетные вечера, проведенные дома, но показался покойным и задушевым как никогда; все мило, знакомо, все до мелочей именно так, как хотелось; где еще найдешь такую прочность и устойчивость; а меж тем, невесть почему, донимала въедливая мысль, что все это одно притворство. Будто этакий домашний спектакль, который разыгрывают взрослые на радость детям. А ночной кошмар, от которого, как воображал Чарли, он счастливо очнулся, – Лидия с подведенными веками и накрашенными сосками, в голубых турецких шальварах и голубом тюрбане, в этот час танцует или лежит обнаженная, униженная и мучительно торжествующая в своем унижении в объятиях какого-нибудь отвратительного ей мужчины; Саймон, закончив работу в редакции, ходит в этот час по пустующим улицам на левом берегу Сены, и в его болезненном извращенном уме зреют чудовищные планы; в этот час Алексей и Евгения, – Чарли никогда их не видел, но, казалось, так хорошо их знает по рассказам Лидии, что непременно узнал бы, встретить их на улице, – в этот час пьяный Алексей слезливо возмущается развращенностью сына, а Евгения шьет, шьет не покладая рук и тихонько плачет, оттого что жизнь такая горькая; два отпущенных на волю каторжника с оцепенелым взглядом, словно прикованным к ужасам, которые довелось увидеть, сидят в этот час каждый со стаканом пива в прокуренном полутемном подвале и там, затерявшись в многолюдье, на краткий миг освобождаются от вечного страха, что кто-то за ними следит; и за тридевять земель, на далеком побережье Южной

Америки, Робер Берже в тюремной полосатой, розово-белой одежде и в уродливой соломенной шляпе на бритой голове в этот же час идет из больницы по какому-то поручению и, бросив взгляд на морской простор, мысленно прикидывает, есть ли надежда на успешный побег, и со снисходительной нежностью думает о Лидии... А ночной кошмар, от которого, как воображал Чарли, он счастливо очнулся, на самом деле страшная действительность, рядом с которой все остальное самообман. Это нелепо, это противоречит здравому смыслу, но она, вся та страшная действительность, словно исполнена силы и тайного смысла. И значит, жизнь, которую он делит с этими тремя, – с отцом, матерью и сестрой, столь дорогими его сердцу, и вся прочая благопристойная, но заурядная окружающая жизнь, которая выпала ему по воле слепого случая, – уютно укрыла и защитила, это все лишь театр теней. Пэтси спросила, были ли у него в Париже приключения, и он честно ответил – нет. Он ведь и вправду ничего такого не делал. Отец думает, он там распутничал, и боится, не подхватил ли он дурную болезнь, а у него и женщины-то не было. Лишь одно с ним случилось – довольно странно это, если подумать, он не очень и понимал, как с этим быть, – весь его прошлый мир рухнул.

Содержание

[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[7](#)
[8](#)
[9](#)
[10](#)